

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
«РУССКОЙ МЫСЛИ»
ИЮЛЬ 1985

15

БОЗРЕНИЕ



ПУТИ ЛИТЕРАТУРЫ

Обозрение

Присылаемые рукописи могут быть написаны на любом из основных европейских языков. Объем статей не должен превышать 8-10 машинописных страниц, напечатанных с двойным интервалом. К рукописи должны прилагаться краткие биографические сведения об авторе. Материалы из Советского Союза могут быть помечены псевдонимом. Рукописи следует направлять по адресу Редактора. Подписка на «Обозрение» производится Издателем. Непринятые рукописи редакция не возвращает и в дискуссию по этому поводу не вступает.

Tout texte sera accepté s'il est rédigé dans une des principales langues européennes. Le volume des textes envoyés ne doit pas dépasser 8-10 pages dactylographiées de 1500 signes (25 lignes de 60 signes). Prière de joindre au texte une courte notice biographique.

Manuscripts may be written in any one of the major European languages. The length of the manuscript should not exceed 8-10 double-spaced typewritten pages. Authors are requested to send a short biographical sketch along with their article. All materials should be sent to the editor. Declined manuscripts will not be returned.

Материал, публикуемый в «Обозрении», не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения Редактора.

Toute réimpression intégrale ou partielle sans le consentement de la rédaction est interdite.

All rights reserved. No part of the publication may be reproduced in any form without the prior permission of the editor.

Адрес Редактора:
L'adresse du rédacteur:
Address of the editor:

A. Nekrich. 505 Pleasant Str.
Belmont MA 02178 USA.
Tel.: USA 617-495-4160; 484-8652.

Адрес Издателя:
L'adresse de l'éditeur:
Address of the publisher:

«La Pensée Russe»
217, rue du Faubourg St. Honoré.
75008 Paris
Tél.: 563-94-47 ou 563-21-83.

Замкнутый круг



Александр Некрич

**Редактор
«Обозрения»**

Спустя четыре месяца после своего избрания генеральным секретарем ЦК КПСС Горбачев прочно держит в руках бразды правления. Последние изменения в кремлевском руководстве подтверждают это: изгнан из Политбюро соперник Горбачева Г.Романов, заполнена пустовавшая после смерти К.Черненко должность председателя Президиума Верховного Совета СССР. Им стал бывший министр иностранных дел А.А.Громыко, вознагражденный таким образом за поддержку Горбачева во время последних выборов генерального секретаря. Произведены некоторые новые назначения в секретариате ЦК и в Политбюро.

Таким образом, накануне встречи с президентом Рональдом Рейганом, намеченной на 19-20 ноября с.г. в Женеве, Горбачев избавился от менторской опеки Громыко во внешних делах. Горбачев возьмет с собой в Женеву нового министра иностранных дел Э.Шеварднадзе, переведенного в связи с новым назначением из кандидатов в члены Политбюро. Сделав главой ведомства внешних дел человека абсолютно в них несведущего, генсек показал, что намерен быть своим собственным министром иностранных дел.

Уверенность в прочности своего положения позволила Горбачеву фактически пересмотреть программу практических мер в области экономики. Миф о Горбачеве-реформаторе, ностальгически вынашиваемый иными западными советологами, начинает тускнеть.

На экономические дела следует взглянуть более пристально.

Если собрать воедино все решения, постановления и указания партии и правительства по вопросам экономики хотя бы за последние тридцать лет, то они, наверное, составили бы многие сотни томов. И это понятно: каждый новый руководитель партии начинает свою деятельность с декларации о необходимости сделать решительный поворот в области экономики. После этого на экономическом фронте наступает некоторое оживление: спешно созываются заседания на различных уровнях, проводятся совещания —

всесоюзные, республиканские и местные и, кроме того, семинары и научные конференции. Руководители ведомств, так или иначе связанные с экономикой, директора научных институтов, академики и доктора наук спешат внести свою лепту и ответить делом на призыв высшего руководства. Светила экономической науки смело, решительно, а главное, научно обоснованно вскрывают пороки централизации, децентрализации, инвестиционной политики, планирования, мелочной опеки, отсутствия хозрасчета, недостатков определения продукции по валу. Они констатируют большой шаг вперед в области удовлетворения неуклонно растущих потребностей трудящихся, а также обращают внимание на то, что еще не все руководители предприятий работают с полной отдачей. Иногда отмечается монотонность производственного процесса в группе «Б», которая навеивает скуку на рабочих и вызывает тем самым текучесть кадров. В последнее время стало обычным говорить о пороках инвестиционной стратегии, необходимости больше вкладывать средств в реконструкцию уже действующих предприятий и резко сократить строительство новых. Что-то знакомое слышится во всех этих констатациях, сетованиях и предложениях, почерпнутых из доклада М.С.Горбачева «Коренной вопрос экономической политики партии» от 11 июня с.г. на совещании по вопросам ускорения научно-технического прогресса. —————→

Доклад Горбачева удивительным образом вызвал в памяти выступление другого генсека — Сталина на совещании хозяйственников 4 февраля 1931 года. Отвечая на риторический вопрос о причинах неполного выполнения плана в 1930 году, вождь признал: «Нехватило умения использовать имеющиеся возможности. Нехватило умения правильно руководить заводами, фабриками, шахтами». В 1985 году генсек Горбачев констатирует: «Главная причина в том, что мы своевременно не проявили настойчивости в перестройке структурной политики, форм и методов управления, самой психологии хозяйственной деятельности». Выступление Сталина относится ко времени первой пятилетки, Горбачев говорит на исходе одиннадцатой. Время, прошедшее между этими двумя констатациями, чуть больше возраста самого Горбачева. Но кажется, будто Сталин говорил это вчера, до того похоже.

Предложение же Горбачева изменить стратегию инвестиций напомнило мне разговор инженера Виктора Кравченко с наркомом тяжелой промышленности Орджоникидзе в том же 1931 году. Кравченко предложил вместо строительства новых предприятий модернизировать старые. «Приводя цифры, я пытался показать, что, инвестируя несколько миллионов рублей для улучшения производства на уже существующем заводе, мы могли бы получить больше продукции, чем вкладывая в десять раз больше средств для строительства новых заводов». Орджоникидзе согласен с Кравченко. Ну и что же? Пятьдесят с лишним лет спустя генсек Горбачев заявляет: «Сейчас никто не оспаривает, что капитальные вложения, направляемые на реконструкцию, дают примерно вдвое выше отдачу, чем при новом строительстве». Понадобилось каких-нибудь полстолетия, чтобы снова прийти к этому мудрому выводу.

Можно безошибочно утверждать, что среди перечисленных Горбачевым проблем, разрешение которых нельзя больше откладывать, нет ни одной, которая бы уже не обсуждалась полстолетия тому назад. Но они так и не были

решены ни правительственными постановлениями, ни жесткими дисциплинарными мерами, ни использованием ГУЛАГа, ни кампаниями организованного энтузиазма, ни сочетанием всех этих мер.

После смерти Брежнева первые мероприятия Андропова, особенно те, что были направлены против наиболее вопиющих случаев коррупции и произвола местных властей, вызвали сочувствие и поддержку среди определенной части населения. Но эти настроения начали быстро угасать, когда выяснилось, что ни Андропов, ни его преемники ничего, кроме слов и дисциплинарных взысканий, народу предложить не могут.

Советское руководство не намерено проводить какие-либо серьезные (структурные) изменения внутри страны и не допустит ничего подобного в других социалистических странах.

Критическая оценка состояния экономики, ставшая довольно модной в последние годы, возродила (в который раз!) надежды среди некоторой части экономистов на возможность проведения реформ, которые ослабили бы негативное действие огосударственной экономики. Появились записки, предложения, докладные в пользу поощрения, хотя бы в ограниченной степени и в определенных сферах, рыночных отношений и ослабления централизованной системы планирования и управления производством. При этом ссылались на пример социалистической Венгрии, вероятно, не задумываясь особенно над тем, что не всякий опыт впрок всякому государству.

В докладе Горбачева ни слова не было сказано о том, какими средствами и методами руководство собирается решить хозяйственные проблемы. В нем не содержалось даже намека на возможность глубоких реформ. Единственное, на что руководство

решилось, это на создание производственных объединений, которые должны подчиняться непосредственно министерствам (речь идет, очевидно, о ликвидации главков). Ну и что же? Да ничего.

Правда заключается в том, что партийное руководство и, прежде всего, сам генсек Горбачев прекрасно отдают себе отчет в том, что глубокие реформы, означающие структурные изменения, проводить опасно, что существующая система просто с ними несовместима. Речь может идти лишь об использовании косметики, а не скальпеля. Реформы противостоят интересам не только высшей партийной верхушки, так как угрожают ее пока неоспариваемой власти, но и всему правящему классу в целом, его привычным привилегиям. Разговоры, дискуссии и обсуждения возможностей каких-либо коренных изменений в экономической сфере, без затрагивания сферы политической, были бессмысленными с самого начала. И Андропов, и Горбачев это знали. Однако приоткрыть отдушину, чтобы выпустить пар, всегда полезно для более или менее слаженной работы механизма. Но вот проходит всего лишь десять дней после основополагающей речи Горбачева, и «Правда» уже бьет отбой. 21 июня с.г. в газете публикуется большой подвал под названием «Ведущий фактор мирового революционного процесса». Статья вроде бы безобидная, помещена в разделе «Вопросы теории». Но подпись под статьей — псевдоним «О.Владимиров», а это означает, что она исходит с самого верха. В статье речь идет якобы о сотрудничестве между социалистическими странами — на самом деле она является как бы ответом на поиски реформаторов и фактически представляет собой политическую платформу советского партийного руководства.

В статье решительно отвергаются всякие предложения о плотворном сожительстве бок о бок государственного и частного секторов. «О.Владимиров» решительно выступает против концепций, доказывающих «преимущества «свободного рынка» и частного предпринимательства» и в которых «делаются попытки дискредитировать государствен-

ную собственность, противопоставить ее другим формам собственности при социализме». Автор статьи обрушивается на тех ученых, которые выступают за ослабление централизованного планирования (вопрос об этом дебатировался на протяжении добрых двух десятков лет), за рыночную конкуренцию и увеличение доли частного сектора.

Партийное руководство усматривает в этих предложениях (примем за аксиому, что «Владимиров» как раз и высказывает точку зрения руководства) покушение на основу основ системы. «Подобного рода поиски, — пишет «Правда», — не учитывают главного: расширение частного сектора чревато серьезными экономическими, социальными и идеологическими последствиями, прежде всего разрыхлением устоев социалистического хозяйствования, нарушением социальной справедливости и, как следствие, усилением социальной напряженности». Яснее не скажешь: советский правящий класс рассматривает любые попытки изменения существующего экономического порядка как опасную угрозу существующей системе и своему положению в ней.

Снова всплывает на поверхность зловещее слово «ревизионизм». Отпор, очевидно, дается тем, кто ставил в пример экономическое реформаторство в Венгрии. (Кстати, это исходило от самого Андропова.)

Теперь всякие разговоры на эту тему должны быть прекращены, ибо, как пишет «Владимиров», «одинаково опасны претензии на национальную исключительность (подразумеваются, вероятно, Китай и Югославия. — А.Н.), механическое копирование (речь идет о поклонниках венгерских реформ. — А.Н.) или игнорирование опыта других стран». Под «другими странами», несомненно, подразумевается Советский Союз.

Статья адресована не только «реформаторам» внутри страны, но и руководству социалистических стран. В ней содержится ясное предостережение против националистических тенденций, противоречащих «объективным законам социализма», против этих тенденций необходимо «с долж-

ным тактом, но твердо и принципиально бороться». Оговорка «с должным тактом» означает, что руководство КПСС склонно на этом этапе не применять суровых мер воздействия.

На первый план, подчеркивается в статье, выдвигается теперь вопрос о более строгих критериях «союзнической солидарности, координации действий в отношении классового противника», вопрос не только о расширении, но и о повышении качества, эффективности сотрудничества между социалистическими странами.

Лейтмотив статьи «Владимирова» звучит совершенно отчетливо: советское руководство не намерено проводить какие-либо серьезные (структурные) изменения внутри страны и не допустит ничего подобного в других социалистических государствах, контроль над политикой которых будет отныне более тщательным. Можно предположить, что в этом духе проходили недавние переговоры Горбачева с отдельными руководителями социалистических стран, а также совещание членов СЭВа.

Горбачев, заканчивая процесс консолидации власти в своих руках, не нуждается больше в «реформаторах» ни внутри СССР, ни тем более в союзных социалистических странах.

В чем действительно нуждается Горбачев — это в выигрыше времени, в передышке для того, чтобы навести хоть какой-нибудь порядок в советском «шалтай-балтае».

Время в советской истории играло, как ни в какой другой, особую роль. Советские лидеры (Сталин особенно) умели «гнать» время, прищипоривать его, ограничивать, загонять в угол, заставлять советский народ служить через Время: «пятилетка в четыре года!»; год принудрабат за опоздание; восемь лет лагерей за кражу буханки хлеба; десять лет строгого заключения за анекдот. Время торопило и подстегивало — им воспользовались, чтобы привить народу осадную психологию, психологию одной единственной роковой альтернативы — либо мы пробежим это расстояние за столько-то лет, либо погибнем: либо мы догоним (и перегоним) передовые капиталистиче-

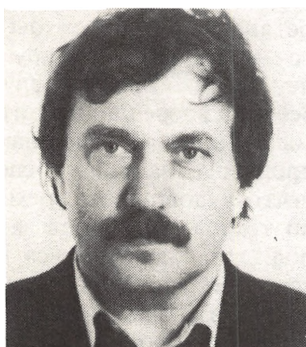
ские страны, либо нас сомнут, и так далее и тому подобное... И каждый раз народ оказывался перед выбором: либо — либо...

Оказалось, однако, что со Временем шутки плохи: Хрущев обещал в 1961 году приход коммунизма через двадцать лет. Его преемникам пришлось бить отбой: вместо пятилетки — семилетка, после семилетки — в перспективе двадцатилетка. У Брежнева и его команды был свой расчет: к концу века их в живых уже не будет, тем самым и отвечать за недоперевыполнение величественных свершений коммунизма не придется — произойдет естественное погашение ответственности. Брежневское руководство оказалось в разладе со временем. Ему хотелось остановить его хотя бы ненадолго — скажем, на пару десятков лет. Однако Время не слушалось и всё шло вперед по неконтролируемым Политбюро законам. Темпы производства падали, свершилось нечто чудовищное: время обгоняло темпы! Андропов заверил народ, что беспокоиться ему не о чем: неотвратимый приход коммунизма откладывается на неопределенное время. Ушли быстро, один за другим, Андропов и Черненко — не поладили со временем. Планы Горбачева рассчитаны на много лет вперед, до начала XXI века. Но он нуждается в льготном времени немедленно. Где Время достать? Ответ несложен: там же, где брали во все времена, — на Западе, в виде новейших достижений науки и техники. Надо заставить Запад работать по советскому времени. Поэтому Горбачев идет на переговоры, на какие-то незначительные уступки, чтобы дать лидерам западного мира возможность помогать СССР.

Напрасны опасения, что если Запад поведет себя чересчур жестко, то советские представители встанут да и уйдут от стола переговоров. Вряд ли они так поступят, разве чтобы припугнуть партнеров, но и в этом случае погрозят, но возвратятся, ибо отчаянно нуждаются в помощи Запада. Время — решающий фактор в схватке со свободным миром, и выиграть в этой схватке без помощи самого противника невозможно.

Так замыкается привычный круг. ■

В авангарде — без тылов



Василий Аксенов

**Василий Аксенов —
русский писатель,
автор широко известных
повестей «Коллеги»,
«Звездный билет»,
«Затоваренная бочкотара»
и других.**

**В 1979 году составил
неподцензурный
литературный альманах
«Метрополь».**

**В 1980 году был лишен
советского гражданства.
Живет и работает в США,
где опубликовал романы
«Ожог» (1980),
«Остров Крым» (1981),
сборник пьес
«Аристофаниана
с лягушками» (1982).**

**В издательстве «Ардис»
вскоре выходит новый роман
В.Аксенова «Скажи изюм».**

Отрыв

Не устаю рассказывать американским студентам одну из своих любимых историй — о встрече соцреализма и сюрреализма в степях меж двух великих рек, меж Волгой и Доном. История эта основана на документальной повести «Демонтаж», ходившей в шестидесятые годы не то что в Самиздате (тогда еще, кажется, и термина-то этого не было), а так, по рукам, среди либерального московского народца. Титульный лист манускрипта был основательно зажеван, так что и имени автора не разобрать, но по стилю повесть была полностью в очерковой стихии «Нового мира», «Знамени», тогдашней «Литературки», так что и сама как бы отчасти соотносилась с эстетикой соцреализма.

Вот эта история в вольном, разумеется, изложении. В 1952 году наша страна воздвигла между двумя своими реками гигантскую чугунную статую, высотой с нью-йоркский небоскреб «Импайр». Это была человеческая фигура в военной форме. На плоской поверхности ее фуражки мог бы спокойно развернуться четырехтонный грузовик. Под огромный купол головы через глазные отверстия любили залетать степные птицы, чайки с нового водохранилища, но особенно облюбовали это пространство «голуби мира», что стали гнездиться внутри в больших количествах. Усы ниспадали с верхней губы, будто потоки Днепрогэса. В сапоги можно было

бы засунуть по кремлевской башне.

Чем объяснить столь гомерическое расходование нужного стране (на утюги и кандалы) чугуна, как не эстетическими запросами общества на определенном этапе развития? Вокруг, надо сказать, простирались плодородные поля «теории бесконфликтности», а директором статуи был назначен кавалер Золотой звезды из казаков новой формации. Последний, в отличие от истуканоборца Евгения, бросавшего вызов бронзе, влюбился в свой чугунок.

Увы, время для эстетических восторгов страна выбрала не самое подходящее. Через год прототип этой соцреалистической в той же мере, что и сюрреалистической (благодаря ее размерам) скульптуры свалил. Страна с похвальной прытью занялась было саморазоблачениями, и чудовище было забыто на несколько лет, хотя все еще и жидилось, пугая пассажиров проходящих мимо прогулочных теплоходов.

КЗЗ остался без жалованья, но любимого идолища не бросил. Он поселился в сапоге, прорубил в чугуне маленькое окошечко и жил не то чтобы очень уж комфортабельно, но не в тесноте, хоть и в обиде на неблагоприятное отечество. Вокруг сапога он разбил огорожок и таким образом самоснабжался овощами. Свои потребности в протеине (как тут наши американцы это определяют) он тоже стал удовлетворять вполне успешно, хотя и довольно неожиданным образом. Дело в том, что «голуби

мира», копошась в башке и в складках лица, вели себя с постыдной функциональностью, то есть засирали кумира. КЗЗ такого кощунства долго терпеть не мог и, вспомнив всех героев русской смелки, изловчился, провел вокруг глазных дыр провода с током высокого напряжения. Неразумным пернатым ничего не оставалось, как поджариваться и падать к подножию гиганта в уже готовом для употребления виде.

Так шли годы. Идиллия была нарушена победоносным — как и все прочие — Двадцать Вторым съездом. Вдруг вокруг сталинского холма зарывали бульдозеры и краны, начался «демонтаж»...

В этой парадоксальной точке истории по сути дела впервые сошлись воедино искусство революции, то есть социалистический реализм и иронический сюрреализм авангарда. Завершилось историческое, вернее, хронологическое недоразумение, вызванное временным совпадением поры художественных открытий с чередой путчей и актов массового насилия, именуемой революцией.

Авангард со страстью развивался российской творческой молодежью на заре действительно новой эры, но это была не эра революции, а эра неслыханных прежде отношений просвещенного либерализма, как раз и уничтоженная древней пошлятиной революции. Не поняли, запутались, явились к победителям — мы с вами, готовы служить, у вас революция в обществе, у нас революция в искусстве.

Злосчастное хронологическое совпадение вызвало и семантический ступор, приверженные к слову «революция» художники не могли разглядеть, что вращения искусства и власти идут в разные стороны. Чего с них требовать, если и весь мудрый наш народ, завороченный явным преимуществом слова «больше» над словом «меньше», даже и не трудился задать вопрос — чего больше, чего меньше? А между тем, уже в 1918 году в «Правде» Надежда Константиновна Крупская бомбила горшками партийного смысла мейерхольдовскую постановку «Мистерии-Буфф».

Авангард в России с самого начала революции был, разумеется, обречен на вытеснение тяжелым и

все разрастающимся арьергардом, огромной прыщавой жопой социалистического реализма, столь любезной революционным обскурантам. Не повезло хронологически, семантически, всячески...

Не повезло российскому авангарду и с его оценкой Наумом Коржавиным. Замечательный наш поэт, пылая понятным отвращением к тоталитаризму любого пошива, страстно, хоть и неубедительно, соотносит с тоталитаризмом и авангард, а точнее то, что он называет ненавистным ему словом «модернизм».

Больше того, Коржавин даже возлагает на «модернизм» солидную долю ответственности за возникновение в России тоталитарного строя, говоря, что именно «Серебряный век» подготовил революцию. Как можно, однако, не понять, что эти два явления были совсем из «разных опер», попросту из разных эпох — «модернизм» относился именно к серебряному новому, увы, так и не наступившему веку, в то время как революция — к древнему, чингисханному, багровому. В рассуждениях Коржавина, очевидно, превалирует тяга к политическим параллелям. Он, видимо, бьет «модернизм», потому что соотносит художественный либерализм с политическим либерализмом, который, по мнению части нашей общественности, как раз и привел Россию к большевизму. Параллели такого рода, на мой вкус, дурны — искусство лишь в малой степени соотносится с политикой, но даже если их и принять на короткое время в дискуссионном, что ли, порядке, то я склонен думать, что большевизм победил не благодаря размаху и силе либерализма, а благодаря его слабости, малому еще проникновению в российскую жизнь, короткому сроку и незрелости. Впрочем, победил и победил, хрен с ним, сие не предмет нашего разговора — мы о художествах, о литературе, об авангарде и арьергарде сегодня держим речь.

Недавно случилось мне поработать «на панели»... Вот, не удержался от дешевого каламбура. Панелью здесь в Америке называют какую-либо специфическую сессию или тематическую секцию на какой-либо научнообразной конференции. У академической пуб-

лики русского происхождения словечко это, конечно, вызывает веселые эмоции и желание острить в нашей прежней московско-ленинградской ильфпетровской манере, вкуса к которой мы еще, как и странно, не потеряли.

Итак, я председательствовал на панели конференции Американской ассоциации преподавателей славянских и восточноевропейских языков и литератур в Вашингтоне. Название панели гласило: «Творчество Саши Соколова и традиции авангарда в современной русской литературе».

Герой дня, то есть Саша Соколов, присутствовал, являя всем своим видом непреложный факт, что самобытного художника нелегко пристегнуть ни к одному литературному понятию, даже и к такому пространному и расплывчатому, как авангард. Художник ведь может сегодня «Мельмотом, космополитом, кашалотом», а завтра маской щегольнет иной. И все ему сойдет с рук, вот что замечательно.

И все-таки мысли панелистов, отталкиваясь от соколовских палисандрий, витали над оранжереей российского авангарда, стекла которой, как это, собственно говоря, и случилось в Томске с ночным литературным кружком «Оранжерея» в прямом, а не метафорическом смысле, так основательно продавлены сапожищами нашей гебухи. Что прикажете считать авангардом — формальный ли только лишь поиск, безудержное ли экспериментаторство или что-то еще такое, что толкает творцов «аванти», то есть вперед?

Председатель собрания осмелился высказать мысль такого сомнительного плана: авангардно всё, что еще живо. В этой связи можно легко прийти к парадоксам и сказать, что поэзия «анти-модерниста» Коржавина авангардна в не меньшей степени, чем его антипода Алексея Цветкова.

Звучит это, может быть, не так уж и легковесно, судари мои. Та часть нашей литературы, что преодолела соблазн айтматовщины и удалась от жопы, и в самом деле окрылена (или отягощена) своего рода авангардистским мышлением. Трудно, например, отлучить от авангарда Георгия Владимова с его традиционализмом в

письме, но зато с колоссальным отрывом от шаблона в том, что стоит за письмом.

Недавние изыскания Льва Лосева привели нас в заповедный пока еще край солженицынского авангардизма. Здесь речь идет уже не только об отрыве, — а вот «отрыв», может быть, именно в силу отрывов авангардизм становится авангардизмом? — но и о письме, о стиле, о пунктуации, о метафорическом строе, дыхании строк. Опешив сначала при сравнении солженицынского письма с Цветаевским и даже с Андреем Блоком, пройдя затем два шага, думаешь: а ведь и в самом деле! И почему бы нет?

Стало быть, все, кто оторвались, ушли, все они, а, стало быть, вместе с ними и наша литература, ушли вперед? Не пятимся? Не вбок ли заносит? Не кружим ли бессмысленными кругами с перебитым в дурацкой махаловке вестибулярным аппаратом то ли левого, то ли правого уха?

Да и вообще — пристойное ли это качество для литератора — авангардизм? Не лучше ли на месте сидеть в позиции дутой классичности, черпая вдохновение из любимой книжки всех недоучек «Мифы Древней Греции»? Скажете — авангардизм живуч? А пристойное ли это качество для литературы — живучесть? Вот уж иные-то ведь и обратно уж в задницу собрались, складывают мольберты... О чем вообще мы говорим, стоит ли вообще предмет хотя бы и самых вялых разговоров?

Циркуляция

Недавно я получил с почтовыми голубями письмо из Москвы от молодого друга. Странное дело, пишет МД, читаем мы здесь ваши эмигрантские журналы и с каждым годом находим все больше какого-то, скажем так, типично эмигрантского, что ли, усреднения. Может даже появиться ощущение, что имеешь дело с напряженной попыткой выработки удобочитаемого штампа из антиштампа, сероватая беллетризация духовного опыта. Выглядит это нелепо, особенно в связи с тем, что ведь духовный опыт эмигра-

ции само по себе явление экстраординарное.

Говоря об экстраординарности, МД, очевидно, имеет в виду как раз то, что мы в первой части статьи назвали «отрывом», то есть априорным авангардизмом зарубежной части нашей литературы. В «отрыве», конечно, неуютно, зябко, зыбко. Ручки тянутся к опорам, но существуют ли они?

Он продолжает. С другой стороны, поражает наглость иных литературных интервью. Предположим, живя здесь, в метрополии, мы знаем определенного эмигрантского писателя как автора пары-другой рассказов «под Бабеля». Ничего себе паренек, думаем мы о нем, довольно способный, будет стараться — может быть, и

Авангард в России с самого начала революции был, разумеется, обречен на вытеснение тяжелым и все разрастающимся арьергардом.

получится некоторый толк. И вдруг мы читаем интервью с этим «ничего-себе-пареньком», и он звучит как гигант нашей словесности, вещает непреложные истины, ворожает историческими пластами, ободряет одну литературную эпоху, изничтожает другую. Он уже вовсе и не озабочен доказательством своих пока еще весьма вопросительных способностей, позиция его как бы уже всеми признана высочайшей. Что такое, думаем мы, может, чего-то упустили? Может, почтовые голуби не сработали, не донесли до отчизны какого-нибудь могучего романа или еще чего-нибудь гениального? Впоследствии, увы, выясняется, что он как был автором пары-другой рассказов, так и остался, и не в сочинительстве, а только лишь в этой интервьюшной наглости он и ловит свой кайф, свой звездный час...

К сожалению, приходится согласиться с молодым москвичом. Мегаломания как была, так и осталась главной ви-ди (то есть венерической болезнью) нашей литературы. В метрополии, надо сказать, этот недуг основательно

заглушается густотой среды, хотя бы просто обилием лиц, сходных с твоим собственным, накатами языка, бесконечной иронией повседневной русской жизни. Возмнивший себя гением литератор может в любую минуту получить по башке кардинальный российский вопросик «фули ты?», после чего останется только вздохнуть — а в самом деле, фули я?

В эмиграции мегаломан порядком освобождается от иронической терапии и быстро покрывается паршой местечковых амбиций. Надеюсь, меня, полу-Гинзбурга, не обвинят в антисемитизме. Я вовсе не еврейство имею в виду, а то качество человеческого вздора, которое моя мать, помнится, называла загадочным словом «пемпендительность» и которое и в самом деле в широком ходу южнее линии Саратов-Харьков-Чернигов, хотя и с бурными всплесками на берегах Невы и Гудзона.

Забыл еще Ригу, милостивые государи. Прибавляю.

Иной раз обсмеешь, читая, как наши литераторы, деля курицу славы, величают друг друга. В большом ходу сравнения с великими тенями. Б., скажем, называет А. «Моцартом нашей прозы», вполне очевидно напрашиваясь на «Римского-Корсакова нашей поэзии». Сравнения эти, черт возьми, никуда не годятся попросту с фактической и структуральной точек зрения. Густые, мрачноватые, наперченные слои прозы А. скорее уж сродни Шуману, чем Моцарту, да и Б., хоть и поет, но отнюдь не «золотым петушком».

Я и сам прошел через соблазн таких сравнений. Хочется иногда сделать приятное пишущим собратьям. Раз как-то гуляем по улице Франклина Рузвельта в Ялте с одним драматургом, любимым автором всех советских ТЮЗов. Знаешь, старичок, говорю я ему, в твоих сказках есть что-то от Андерсена. Тот вдруг несказанно обиделся. Андерсен, говорит, Андерсен, вечно суют, говорит, мне этого Андерсена, тоже мне, фля, Андерсен... В другой раз как-то в Лондоне толкаемся с одним нашим сатириком на Пэл-Мэлл. Знаешь, говорю, англичане называют тебя «современным Свифтом». Комплимент оказался сомнительным. С кривой улыбкой

сатирик отверг историческую параллель: пусть уж лучше называют меня моим собственным именем.

Ну, что ж, недовольство драматурга и сатирика вполне понятно. Нечасто встретишь писателя, приверженного поговорке «хоть горшком назови, только в печку не ставь». В уединенные часы творчества, особенно в уединении эмиграции, чего только не придет в голову, и почему бы нам хоть иногда не проводить параллели в обратном направлении: Бетховен, скажем, — это А. немецкой музыки, Эдгар По — это Б. американской словесности.

В повседневной эмигрантской жизни нередко можно натолкнуться на самозванца, на людей с мифическими дипломами и докторскими степенями, с какими-то огромными, оставшимися за океанами заслугами и героическими деяниями. Э. Лозанский из Международного Сахаровского комитета однажды рассказывал: звонит некий русский диссидент и представляется — я такой-то, в СССР был крупнейшим диссидентом по нефти и газу. Простите, говорит Лозанский, это не по нашей части, мы тут по дереву и железу...

В Израиле, говорят, если появлялся бывший советский офицер и заявлял, что командовал полком, его отправляли во взвод, если дивизией — в роту. В литературной жизни мифический диплом читателям не сунешь. Встречал я, правда, писателя, обиженного на КГБ, которое (который? которая?) перед отъездом отобрал (-о? -а?) у него двадцать килограммов прозы. Увы, отобранные эти килограммы литературного веса не прибавляют. Даже Венечке Ерофееву второй роман, потерянный в электричке, к сожалению, ничего не прибавил к тому, как говорил Том Сойер, другому.

И все-таки и в литературе иной раз возникает своего рода «импостерство», будто в ход идут фальшивые дипломы и докторские степени. Я имею в виду сотворение так называемого «имеджа». Прошу прощения у кириллицы за эту довольно уродливую комбинацию наших довольно красивых букв, но ведь понятие это одним словом «образ» никак не переведешь, и ему суждено, очевидно, и в

«великий-могучий» перескочить целиком и околачиваться где-то по соседству с «престижем».

Сотворение «имеджа» (а он почти всегда дут, фальшив) в американской рыночной литературе явление обычное, бытовое, деловое, но иной раз можно с этим столкнуться и в эмигрантской литературе, то есть в авангарде.

Персона хоть и с положительными, но вполне умеренными данными вдруг раздувается до размеров вселенского гения и в дутом этом состоянии даже и умеренности свои теряет. Редко кому приходит в голову остановиться и прощелкать пальцем корешки книг — неужто всего лишь две-три, да еще и таких худославых? — копнуть в глубину, — что это у вас на лопате, неужто всего лишь ржавый «спутник агитатора»? — просеять философско-литературные изречения — ай-ай, одни лишь медяки холодного сапожника остались в сите...

Оторвавшись от задницы социалистического реализма, мы оторвались и от всех других наших тылов. Парадоксально, но ведь и динозаврина эта бессмысленная одухотворяла творчество, ну хотя бы гневом. В ее отсутствие мы живем на голодной диете сарказма. Советский поэт однажды писал довольно красноречиво о соблазне поцелуя в одну из ягодиц или в обе. Понимаю, говорил он, что нужно ее лизнуть — лизни, приглашает она, и будешь в эфире, на страницах журналов, везде — и собираюсь уже ее лизнуть, увы, «как увижу — укушу!» Удаляясь с каждым годом от нас уже как бы в космическое отдаление, ЖСР уже все реже вызывает к жизни этот поэтический рефлекс, запашок развевается, прыщики и бугорки при отдалении сглаживаются, для иных из нас объект даже приобретает некоторую ностальгическую серебристость.

Что уж говорить о всех других тылах, о всей нашей вечно любимой и вечно затоваренной бочкотаре? Жадное скушающее око писателя даже и в супермаркетах и драгсторах выискивает хоть что-нибудь, хоть отдаленно похожее. Оказавшись недавно на тропическом острове, я сравнил его свалки и поселки с Рязанщиной, а аборигенов с колхозными алкаша-

ми, в праздно маяте блуждающими вокруг селпо.

Что уж говорить о ВМПС имени Тургенева, о языке. Островитяне вокруг трещали на своем «папельяменто», несурзной, но довольно веселой смеси испанского, английского и голландского. Литературы у нас пока еще нет, господства, сотовали они, нет пока еще своих Платонов и быстрых разумом Невтонов, но будут, будут. Вот изобретем свою письменность, и Шекспир появится.

Однако даже для «папельяменто» нужно прошествие нескольких поколений, а что происходит с советско-русскоамериканской словесной кашей, когда даже жрецы языка в просторечии ломают язык, пытаюсь найти всяким «промотерам» и «сарвайверам» подходящие адекваты.

Что уж говорить о читателях. Вообразить себе читательский взрыв в России, если там свободно начнут продаваться книги эмиграции, неспособно даже самое бурное воображение. Здесь читательский интерес склонности к взрывным процессам, понятно, не проявляет, скорее едва-едва булькает, и это справедливо, потому что эмигранты — это не читатели, а писатели. Эмиграцию без особой натяжки можно считать творческим актом.

Что уж говорить о литературной среде. Разбросанная по трем континентам, наша «среда», хоть временами и воспламеняется каким-нибудь «лево-правым» или «русско-еврейским» спором, все-таки едва жива. Плевки падают обратно на головы плевакам, пощечины плывут годами, прежде чем достичь щеки, дружеские ободрения просто рассеиваются в воздухе. Среда московских «творческих клубов» начала шестидесятых годов или среда альманаха «Метрополь» вспоминаются нами сейчас, как Пушкину в Михайловском вспоминались придворные танцы.

Словом, авангардная, ушедшая в отрыв часть русской литературы уподобляется нынче гидропоническому помидору. Да хорошо еще, если бы этот помидор с самого начала знал бы только тонкие водяные струйки, а то ведь обогранные корешки сохраняли еще память о почве. Трудно в этом состоянии участвовать в мировой

циркуляции веществ. Трудно, но можно. Как классики писали: «Хорошего мало, но привыкнуть можно».

Бочкотара

В 1981 году на конференции «Третья волна» в Лос-Анджелесе драматург Эдвард Олби («Кто боится Вирджинии Вулф?»), просидев три дня в президиуме с двумя десятками русских писателей-эмигрантов, сказал в своем выступлении: «Я старался представить, что это значит — быть писателем в изгнании, и не смог... Подобно тому, как Уистан Оден воображал смерть своего возлюбленного, чтобы испытать высочайшее горе, я пытался вообразить себя в изгнании... Я говорю не о том «изгнании», в котором писатель находится постоянно по отношению к своему обществу, то есть не об обычном рабочем состоянии писателя... Я просто не могу себя представить работающим в другой стране, в другой культуре...»

Те же самые мысли выразил в этом направлении прозаик Билл Стайрон («Выбор Софьи»). Мы сидели на татами в токийском ресторане — накрученная на всю катушку экзотика. В Японии, между прочим, всегда так: сначала восхищаешься экзотикой, а потом спрашиваешь себя — смог бы я здесь жить? Несмотря на все космополитические приметы современной японской жизни, там всегда все-таки присутствует некоторое ощущение инопланетности, хотя бы из-за ошеломляющего отсутствия блондинок. На татами после насыщения мысль невольно устремляется к родным болотам. Поели, мол, попили, теперь, мол, хорошо бы и домой, в коннектикутские дубравы.

Тут Сайрон, возможно, подумал о том, что его сотрапезнику путь в родные болота заказан. И преисполнился, очевидно, сочувствия. Как вообще-то это все у вас протекает? Как вы живете вдали от родины? Как пишется? Что касается меня, я просто не могу себя представить пишущим вдали от американской жизни, американского языка...

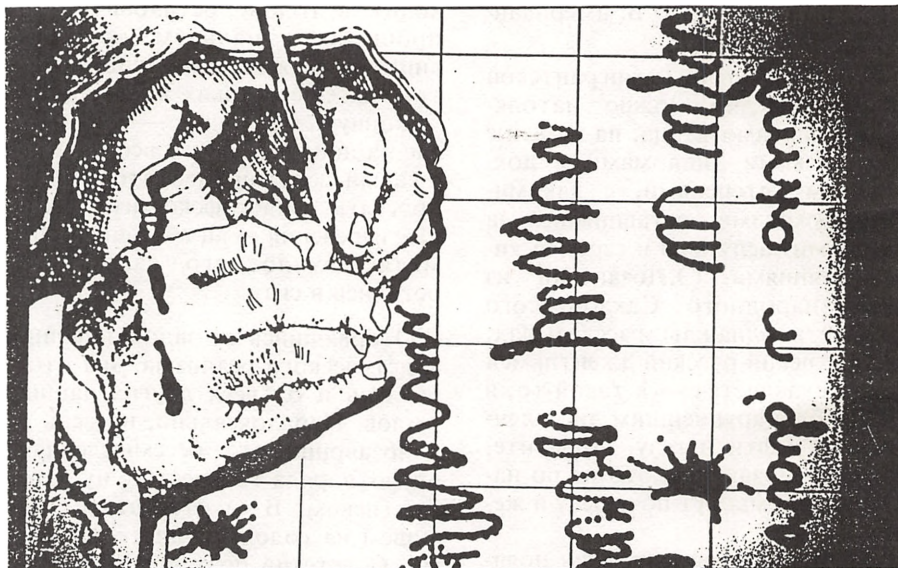
...В этой связи мне вспомнился эпизод в Бунинской «Лике». Ге-

рой, проходя по зимней улице, увидел нищего, сидящего без штанов, буквально голым задом на снегу. Дав человеку гривенник, герой воскликнул:

— Да как же вы можете так жить, столь ужасно?

Дерзостно полыхнув глазами и сверкнув золотым зубом (прошу прощения, последнее, как видно, пробралось в бунинские аллеи из авангардистских свалок), нищий с вызовом воскликнул:

— Ровно ничего ужасного, милостивый государь!..



Американскому писателю представить себя в нашей шкуре и в самом деле трудно. Проживая рядом с ними на одной территории и слегка (весьма и весьма умеренно) общаясь, мы обнаруживаем немало сюрпризов. Первый из них — до какой степени американская литература наших дней не хемингуэиста, до какой степени она является чисто американским, а не универсальным делом: до степени даже определенной провинциальности.

Впрочем, провинциальность для американских писателей в наши дни — качество, может быть, и не отрицательное, а творчески плодотворное. Молодое общество до сих пор еще, кажется, восхищено самим фактом своего существования. Американский писатель, даже самый «критически мыслящий» и диссидентски настроенный, не отделяет себя от этого восхищения. И не без причин: при всей своей довольно обширной безвкусице и при внушительной

степени вздора — Америка до сих пор чудесно открытое, великолепно щедрое, свободное и сильное (невероятная комбинация) общество, альтернатива революционной гнили.

Как я хотел бы избежать снисходительной улыбки в их адрес, но не могу. Таща за собой всю нашу тысячелетнюю и не очень-то славную историю, весь опыт наших унижений, мы как бы являем собой пример утомительного цинизма. Волей-неволей из задроченных недорослей сталинского

детдома мы превратились в космополитов. Мы-то как раз не только представляем, но и осуществляем творчество вне национальной культуры (в том смысле, что лишь запас ее у нас с собой, как у космонавтов на Луне запас воздуха) и вне советского общества. От нашей «родины-суки». (по определению А.Синявского), от родины-тюрьмы легче убежать, чем от свободного края.

Отрыв от тюрьмы, от обидчицы, хамки, самодурки... И все-таки это еще не означает отрыва от «русскости» и даже, к сожалению, от «советскости». Вот вам «зиновьевский парадокс», о котором сейчас так много говорят.

Недавно в «Новом Русском Слове» М.Иоффе интересно разбирал это явление. «Своей просоветской репутацией, — писал он, — Зиновьев обязан прежде всего присутствующей в его произведениях «маске юродивого»... Этот феномен не нов... протопоп Аввакум и

писатель Розанов... тяготели к стилистике самоунижения и самобичевания... Розанов: «Какой-то я весь судорожный и жалкий. Какой-то весь растрепанный... Ни о чем я не тосковал так, как об унижении...» Протопоп Аввакум: «Слабоумием объят и лицемерием, и ложью покрыт есмь брато-ненавидением одеян; во осуждении всех человек погибаю, и, мнясь нечто быти, а кал и гной есмь, окаянной...» Отсюда тянется параллель к Зиновьеву. "Я советский человек, — говорит он. — ...всегда лучшим образом старался служить советскому обществу... был хорошим солдатом, хорошим офицером авиации, хорошим профессором и хорошим, тяжело-работающим членом моего коллектива"...»

С точки зрения М.Иоффе, эти признания Зиновьева, очевидно, приравниваются к розановской «растрепанности» и аввакумовским «калу и гною». «Назвать себя советским человеком, способным жить только в социалистическом обществе — вот это уже чистое юродство», — пишет он. Не отказывая Зиновьеву в писательском величии, он все же ставит под вопрос серьезность его деклараций — не игра ли все это, не позерство ли?

Почему же, однако, не предположить, что «юродствующая стилистика» Зиновьева шла не только в этом направлении, но и в противоположном, то есть в том, в каком он, собственно говоря, и стал Зиновьевым? Почему не предположить, что и «Зияющие высоты» были актом «чистого юродства»? Предположив такое, мы вполне можем смириться с мыслью, что Александр Зиновьев — всерьез советский человек. «Советский», впрочем, не означает «просоветский».

Я никогда не был хорошим советским человеком, никогда не старался лучшим образом служить советскому обществу ни в качестве профессора, ни в качестве офицера авиации. Мне приходилось носить советскую военноморскую форму, но я был настолько плохим матросом, что умудрился две недели проходить по Кронштадту в желтых сандалиях. Советская власть всегда мне

казалась халтурой, злой и неряшливой бабой Степанидой Властьевной. Вообразить себя снова в ее «хозяйстве» выше моих сил. Это, однако, не означает, что я несоветский человек, я, очевидно, просто-напросто плохой советский человек.

Советскость, увы, это не состояние ума, не философские наклонности, это пространство времени и земли, это наши оборванные корни, которые все еще источают запах всех наших развеселых пьянок, милицеских участков, первомайских демонстраций, бензина с октановым числом 72, выездов «на картошку», запах ловушек и бегств... советскость, увы, это определенная биохимия возраста.

В некоторых кругах старой эмиграции бытовала и бытует идея «смерти России». Этой страны, де, нет, сгинула после появления чудовищного левиафана СССР. Мы, однако, умудрились пронести идею жизни России через все наши советские десятилетия. В этом, собственно говоря, нет никакой особенной нашей заслуги — она и в самом деле жива. От левиафана взята только шкура. Тоталитарная мертвечина существует только на поверхности, в изображении официальной пропаганды, в циркулярах и решениях правящих органов, в производственных кампаниях и так далее. Огромная масса советской жизни — это живая, скрипучая российская «зато-варенная бочкотара».

С определенной точки зрения можно позавидовать тем деятелям культуры, которые не представляли Советский Союз, хотя бы лишь потому, что никогда в нем не жили. Мы, изгнанники и беженцы, «плохие советские люди», в парадоксальном смысле представляем на Западе Советский Союз, более того, в параметрах самого примитивного уже парадокса мы волей-неволей способствуем возникновению его человеческого образа.

Я с этим столкнулся после выезда в Америке моего «Ожога». Левая публика, иные здешние деревенские марксисты склонны были, как и соответствующие товарищи на родине, усматривать в романе клевету и очернительство.

Навалял, дескать, картину совершенно невыносимой жизни, искривил образ передового общества, выполняющего исторические предназначения. Другие (и, к счастью, в неизмеримо большем количестве) удивлялись: как, вот все эти чучела и придурки, красивые развратные бабы и безобразные мечтательные мужчины явились из железобетонного СССР? Значит, все-таки возможна там такая вот дурацкая, расшатанная жизнь, весь этот джаз, иными словами, человеческое существование?

Что-то похожее происходит и в университетских аудиториях. Студенты, приходящие на мой семинар, поначалу демонстрируют несокрушимое невежество. Кого вы знаете из современных русских писателей? Смущенное переглядывание. Солженицын? Живаго? На этом все испаряется — о Евтушенко даже и не слышали ничего. По мере прохождения материала, однако, они все больше развешивают уши: Советский Союз, ранее представлявшийся лишь как Красная площадь с марширующими болванчиками, являет сонм своих, ну, не «человеческих лиц», но хотя бы человеческих гримас.

Своим присутствием на Западе оторвавшаяся, авангардная часть русской литературы, разумеется, приносит пользу Советскому Союзу, вернее, его подшкурной части, тем «плохим советским людям», которых большинство.

В силу каких-то еще не выясненных политических обстоятельств группа русских писателей вновь оказалась за границей, в космополитическом пространстве. Безродные космополиты всех стран, разъединяйтесь! Сочинительской потенции у нас тут, между прочим, скопилось не меньше, чем в первой волне. Бродячие литературы добавляют специй в торговые унылые ассортименты. В каком-то смысле мы должны быть благодарны судьбе, как и Роман Гуль ей благодарен. Не окажись мы здесь, все пространство нашей памяти, все запахи нашей земли представляли бы миру одни лишь стаднишки, проскурины и сартаковы. Ну, там еще Распутин с Айтматовым... ■

Набоков: синтез культур



Присцилла Мейер

*Присцилла Мейер —
заведующая кафедрой
и профессор
русского языка
и литературы
в Уэслианском университете
(Миддлтаун, США).
Автор статей
о творчестве
Достоевского, Набокова,
по современной
русской прозе.
Переводила
на английский язык
произведения Гоголя,
Достоевского, Зощенко,
Битова, Алешковского.*

Написав «Пушкинский дом», Андрей Битов прочитал «Дар» Набокова и воскликнул: «Он написал мою книгу». Зиновий Зиник, написав «Русскую службу», прочитал «Пнин» Набокова и возопил: «Если бы я прочел это раньше». Разумеется, в этих совпадениях есть своя логика. При серьезных попытках проникнуть в суть эмиграции, внутренней или внешней, писатель сталкивается с рядом общих проблем, в том числе с проблемой двойного зрения, которое постоянно старается перевести один мир в другой. В некотором смысле в этом и заключается суть видения любого писателя, и, может, поэтому некоторые из величайших писателей нашего столетия были эмигрантами. Когда у таких писателей есть общее литературное наследие, неизбежно влияющее на их творческую эволюцию, подобные совпадения тем и образов могут случаться чаще обычного.

В «Пушкинском доме» Андрей Битов воплощает эволюцию русской литературы через любовную историю многообещающего литературного критика Левы Одоевцова, так же, как Набоков в «Даре» пишет хронику роста поэтического дарования Федора Годунова-Чердынцева на фоне развития русской литературы, от Пушкина до Гоголя, от поэзии к прозе. И совершенно понятно, что оба, и Битов, и Набоков, сталкивают своих героев с одним и тем же чудищем: использование литературы в политических целях — в

романе Битова оно воплощено в литературной выставке в Пушкинском доме, у Набокова его воплощением выступает идеолог этой эстетики Николай Чернышевский. Андрей Битов живет в Москве, эмигрант Зиновий Зиник — в Лондоне, и с Набоковым его объединяет знание английского языка и культуры, что обуславливает и дальнейшие совпадения. Набоковский материал невольно использован Зиником в «Русской службе» еще более откровенно, чем Битовым. Связь Битова с Набоковым может быть отчасти объяснена тем, что советский писатель вырос в Ленинграде, в большой интеллигентной семье — последние остатки былой аристократии. Зиник же вырос в хулиганском районе Москвы, был воспитан в любви и обожествлении Сталина. У него были «советские мозги».

Смерть от укола зонтиком

Как часто приходится читать в эмигрантской прессе сетования на то, что, мол, «у нас советские мозги». Как часто писатели-эмигранты призывают других и самих себя отказаться от клише и ограниченности, неизбежно приобретенных в течение жизни в СССР. Зиник усматривает в этом обстоятельстве решающее различие между первой волной эмиграции, у которой не было «советских мозгов», и третьей. Об этом и написана его повесть: ее герой

Нарратор, эмигрировавший в Лондон и сохранивший свое советское мировоззрение, умирает, по сути дела, просто от страха, уколотый, якобы, отравленным зонтиком: так напуган он бытующими в определенных эмигрантских кругах рассказами о «руке Москвы». Зиник использует этот комический образ, чтоб показать, как сложно взглянуть на мир новыми глазами, как сложно избавиться от багажа прошлого. И эта тема — центральная в творчестве Набокова.

С самой первой своей книги («Машенька») Набоков разрабатывает тему "stillicide"* — термин, придуманный Джоном Шейдом в «Бледном огне», идея о замораживании момента или памяти и, следовательно, ее убийства противопоставляется динамической концепции памяти и, тем самым, искусства. В «Говори, память» он обращается к своему опыту отношения эмигранта к собственному прошлому, описывая годы в Кембридже сразу после отъезда из России: «У меня было чувство, что Кембридж и все его прославленные свойства... сами по себе ничего не значили, а существовали единственно для обрамления и поддержания моей необъятной ностальгии». А Пнин в своей подлинной американской жизни хранит ускользающие фотографии прошлого, так же, как герой Зиника, Нарратор, слышит в английской речи русские слова и "How are you" превращается в «харю».

Крайнее проявление проблемы воплощено в Чарльзе Кинботе из «Бледного огня»: он — по крайней мере, в собственном воображении, — изгнанный король далекой северной страны Зембли, и абсолютно все, что происходит с ним и вокруг него в университетском городке в Аппалачах, где он живет, рассматривается в свете его судьбы в изгнании. Он интерпретирует поэму Джона Шейда «Бледный огонь» как изображение своей собственной судьбы, хотя на самом деле это рассказ о личной трагедии поэта. Комментарии Кинбота к поэме механиче-

ски связывают личный мир Шейда с драмой кинботского изгнания. При этом поступки Градуса (имя, данное Кинботом человеку, который в конце концов убьет Шейда) сверяются по поэме Шейда, хотя Градус, как представляется Кинботу, послан убить его, изгнанного правителя Зембли. Суть этого трагикомического убийства в том, что Кинбот настолько плотно наложил выдуманную им фантастическую реальность на свою жизнь в Новой Англии, что ему видится заговор против Зембли в том, что, с точки зрения читателя, есть всего лишь попытка мести безумца, бежавшего из заключения, некоему третьему лицу.

Набоков связывает этот образ слепоты изгнания с идеей перевода. Отсутствие реального взгляда на действительность у Кинбота есть проявление его безграмотности. Он знает Шекспира только благодаря переводам своего дяди на земблянский язык и никогда не читал подлинника. Точный перевод очень важен для понимания оригинала: это виртуозно демонстрирует Набоков в своем переводе пушкинского «Евгения Онегина» и комментариях к нему. Он исследует разные концепции перевода, рассматривая феномен эмиграции: человек может быть физически переведен через время и пространство, так же, как слова могут быть переведены с одного языка на другой, и оба эти явления подразумевают перевод из одной культуры в другую. Конечно, это предприятие невероятной сложности, охватывающее и сиюминутные проявления будничной, частной жизни, такие, как жесты, и все культурное наследие народа, особенно его литературные памятники.

Набоков в своих произведениях рассматривает одновременно все эти виды перевода, начиная со своего личного опыта и кончая привлечением в свое искусство различных культурных традиций. В «Лолите» он вводит «Онегина» в американскую культуру 50-х годов, а в «Бледном огне» создает синтез с британской традицией, используя произведения Вордсворта, Попа и Кольриджа. А чтобы его повести не казались читателю герметически закрытыми, он снабжает каждую из них справочным аппаратом: для «Поли-

ты» это — его комментарии к «Онегину», для «Бледного огня» — мемуарная книга «Говори, память». Собственная жизнь и творчество Набокова выступают в роли «переводчика» этих различных культур, и в своих небеллетристических произведениях он снабжает нас словарями для чтения и понимания его нового языка. Мучительные противоречия эмиграции Набоков решает по-своему: он преодолевает узкие национальные границы, чтобы обрести универсальный, хотя и очень специфический мир в собственном художественном синтезе нескольких культур.

Открытие Америки

«Реальность — очень субъективная вещь», — говорил Набоков, и в итоге ему пришлось «изобрести» Россию, Западную Европу и, наконец, Америку. Если бы эти страны существовали только как создания воображения художника, эмиграция стала бы скорее метафорическим, чем геополитическим понятием. Набоков с отвращением описывал мир своих соотечественников-эмигрантов, их религиозные, политические и литературные пристрастия, считая их слишком провинциальными. «Вся Россия, которая мне нужна, у меня с собой: литература, язык и мое русское детство». Если творчество Набокова можно назвать эмигрантским, то только в том смысле, что Набоков стал эмигрантом из своего детства, которое дало ему самые любимые воспоминания:

«...свежесть цветов, расставляемых помощником садовника в прохладной гостиной нашей усадьбы, когда я бежал вниз по ступенькам с сачком для бабочек летним днем полстолетия назад: эти вещи абсолютно неизменны, бессмертны, они никогда не меняются, независимо от того, сколько раз я снабжаю ими своих персонажей, они всегда со мной; красный песок, белая садовая скамейка, черные ели, все — постоянное мое богатство. Я думаю, тут все дело в любви: чем больше вы любите память, тем она сильнее и страннее. Я думаю, это естественно, что к моим старым детским

*Игра слов: "still" — тихий, спокойный, "still-life" — натюрморт, "suicide" — самоубийство (прим. перев.).

воспоминаниям я привязан куда сильнее, чем к более поздним...

В набоковском детстве романтический абсолют максимально близок к реальности. Став взрослым, Набоков становится эмигрантом из Идеала: эмиграцию можно понять как метафору состояния художника, который проживает свою жизнь, как искусство в мире, привычно игнорирующем это невидимое измерение существования.

Набоков провел 20 лет в России, 20 — в Западной Европе и 20 — в Америке. И хотя он говорил, что его личная трагедия в том, что ему «пришлось отказаться от родного языка... ради второсортного английского», он нежно называл Америку своим «вторым домом» в истинном смысле этого слова.

Цель «Лолиты» — взглянуть на Америку глазами иностранца: как смотрится Новый Мир через призму Старого? Гумберт — эмигрант из Европы, который носит с собой свою карманную Европу, но Набоков контрабандой протаскивает в «Лолиту» свой собственный «карманный Петербург» (в закодированной форме «Евгения Онегина»), который в этой книге пока что остался незамеченным. Я собираюсь показать, что «Лолита» была задумана как «перевод» «Евгения Онегина» из России 1820-х годов в Америку 1950-х (как и сам Набоков из России XIX века был «переведен» в Америку XX столетия). Прежде всего позволюте мне установить, в какой степени Гумберт является пародией на художника-«эмигранта» и как набоковская пародия укоренена в старой русской проблеме культурного синтеза.

Принято считать, что Гумберт — пародия на романтического поэта, который уничтожен своим собственным соллипсизмом, глух к своей Музе. Такое понимание природы художнического соллипсизма Гумберта объясняет скрытую полемику Набокова в «Лолите» с ложной идеей о том, что значит быть «культурным», и поясняет, что Гумберт на самом деле в этом отношении — настоящий Истребитель культуры, маскирующийся в «изысканную прозу».

Восхищаясь американской провинцией, Гумберт говорит о «шатобриановских деревьях», т.е. переносит на Америку свое франко-

романтическое видение мира, которое, несомненно, необходимо ему для составления «учебника французской литературы для американских и британских читателей». И вот, вместо того, чтобы назвать деревья их собственными именами — вязами, дубами, тополями, — он видит их вторичным зрением, через призму вымышленных деревьев Шатобриана. Это имя, как и все у Набокова, не случайно: Шатобриан написал «Рене» и «Аталу» до своего путешествия в Америку — и имя его персонажа Аталы применяется по отношению к самым ненатуральным индейцам в литературных произведениях, это результат применения французского романтиз-

Набоков... преодолевает узкие национальные границы, чтобы обрести универсальный... мир в собственном художественном синтезе нескольких культур.

ма а ля Руссо к второразрядному американскому экспорту. Глядя на «виды северо-американской низменности» (отметим, как пародирует Набоков — специалист по бабочкам — внимание Гумберта к деталям естественной природы), Гумберт вспоминает другой продукт американского экспорта: «те раскрашенные клеенки, некогда ввозившиеся из Америки, которые вешались над умывальниками в среднеевропейских детских», являя собой «зеленые деревенские виды». У читателя возникает на краткий миг надежда, когда герой говорит: «Прообразы этих элементарных аркадий становились все страннее на глаз по мере укрепления моего нового знакомства с ними», но он тут же заменяет второразрядный шатобриановский пейзаж «тучами Клода Лоррена» и «суровым небосводом Эль-Греко», на фоне которого «виднелся мельком фермер» из Канзаса (забавное перемещение, если вы действительно видите канзасского фермера на картине Эль-Греко или что там мог сделать Эль-Греко «где-то в Канзасе»).

Неспособность Гумберта увидеть настоящие американские деревья за франко-романтическим лесом, его искажение подлинной жизни с помощью европейского литературного багажа — эта проблема хорошо знакома русской литературе. Литературная мысль России 20-30-х годов XIX века была озабочена тем, как ассимилировать западноевропейскую культуру, не утратив собственной самобытности, как преодолеть поверхностные подражания западным образцам в России XVIII века. Все персонажи Пушкина и Лермонтова страдают от неуместного сходства с героями западноевропейской литературы — «Чайльд-Гарольд в русском плаще», а их авторы стремятся к подлинно русскому синтезу.

Выдающимся достижением этой полемики является, несомненно, «Евгений Онегин», и в этом — одна из причин того, что Набоков тайно влетает пушкинскую поэму в «Лолиту», достигая тем самым своего собственного синтеза русской и американской повести.

«Евгений Онегин» и «Лолита»

Переводом «Евгения Онегина» и комментариями к нему Набоков занялся потому, что в этом настоятельно нуждались студенты его курса по русской литературе в Корнуэльском университете. Он хотел воссоздать Петербург Пушкина и Онегина для американцев 50-х годов, и в «Комментариях» немало сравнений, направленных на достижение этой цели. Так, он сравнивает сентиментальные повести, которые читали благородные дамы в 20-е годы XIX века, с «приторными историческими романами, распространяемыми среди домохозяек американскими клубами книги», «няня» он переводит как «мамми» и т.п. Набоков начал «Комментарии» в 1950 и закончил в 1957 году. «Лолиту» он начал в 1949 и закончил в 1954 году — то есть по меньшей мере 4 года он работал над обоими произведениями параллельно. В «Комментариях» Набоков сравнивает свой метод литературного перевода с рифмованной парафра-

зой, определяя его как «свободное изложение оригинала с добавлениями и изъятиями, обусловленными требованиями формы и привычками потребителей». На мой взгляд, «Лолиту» можно читать как такой парафрастический перевод «Онегина», если только добавить к нему пародийное измерение: на протяжении всех «Ком-

стиков. Таким образом, «Лолиту» можно читать как пародию на парафрастический перевод «Онегина», доведенную до крайней точки и написанную Набоковым одновременно с созданием литературного перевода. Эмигрировав из идеального «Онегина» своего детства, Набоков в «Комментариях» пишет для американцев само-

изводителем (Пушкин) и «потребителем» (американский читатель около 1950 года).

Конечно, это звучит странно, потому что, на первый взгляд, между «Онегиным» и «Лолитой» нет ничего общего, но ведь даже в сюжетном отношении они схожи: действие охватывает немногим более 5 лет, перед нами — история любви романтических героев. Обе героини выступают в качестве Муз для своих «авторов», которые сравнивают их с богиней Дианой, луной и Ленорой Готфрида Бюргера. Героини, Татьяна и Лолита, проходят путь превращения из провинциальных девушек в опытных неприступных взрослых женщин. В некий момент герои — Онегин и Гумберт — возвращаются после 2-3 лет путешествий и предлагают своим возлюбленным сердце, и оба отвергнуты. Татьяна не смогла понять, насколько изменился Онегин, и думает, что ему нужен только успех в обществе; Лолита неправильно понимает предложение Гумберта уехать вместе с ним: «Ты хочешь сказать, что дашь нам денег, только если я пересплю с тобой в гостинице?» Далее, Онегин и Гумберт убивают Ленского и Квильти (соответственно) на дуэлях. Убийства даны в несколько фарсовом тоне, потому что жертвы отчасти пародийны и представляют собой воплощение Плохого Поэта.

Оставив в стороне обсуждение сложной системы летоисчисления в «Лолите», базирующейся на столетнем интервале между рождением Пушкина и Набокова, игру с числами 12 и 13 в попытке совместить два календаря и два столетия, укажу лишь, что Набоков придерживается в «Лолите» той же элегантной симметрии, на которую он указывает в «Онегине»: роман Гумберта с Лолитой начинается с письма Шарлотты и кончается письмом Лолиты, так же, как письма Татьяны и Онегина обрамляют историю их любви. «Тема преследования» (термин Набокова) Онегина «Пушкиным» связывается с темой мест и воплощается в охоте Квильти за Гумбертом и затем — Гумберта за Квильти.

Как и Ленский в «Онегине», Квильти связан с немецким ро-



ментариев» Набоков цитирует наиболее грубые ляпы парафрастических переводчиков — «Зануды полковника Сполдинга», «профессора Илтона-Растяпы», «Мисс Радин-Недотепы». Одна из благородных целей «Комментариев» в том и состоит, чтобы спасти «Онегина» от искажений парафра-

го русского «Онегина», какой только возможен на английском языке. Одновременно он производит в «Лолите» наиболее американский из возможных парафраз. Следовательно, Набоков использует два метода, доступных для переводчика, чтобы преодолеть культурную пропасть между про-

мантизмом. Гумберт видит в нем своего вечного двойника в духе немецкой традиции, подхваченной Эдгаром Алленом По: по поводу Квилти Гумберт вспоминает рассказы «Вильям Вильсон» и «Падение дома Ашероу». Преследуя Гумберта, Квилти представляет его себе «гетеросексуальным Эрлькёнигом» (намек на стихотворение Гете), когда же Гумберт преследует соблазнителя Лолиты, Квилти на какое-то время перевоплощается в образ Ричарда Ф.Шиллера, мужа Ло. Застав Лолиту в телефонной будке после ее разговора с Квилти, Гумберт говорит: «А сейчас гоп-гоп-гоп, Ленора, а то промокнешь». Учитывая более ранние отсылки к По, американский читатель вправе усмотреть в этом обращение к знаменитому стихотворению По «Ленор», но здесь возникает гораздо более важная ассоциация — с одноименной балладой, написанной в 1773 году немецким поэтом «Бури и натиска» Готфридом Августом Бюргером. Эта отсылка казалась бы не очень уместной, когда бы не та роль, которую играла эта баллада в истории русской литературы.

«Ленора» трижды переводилась Жуковским — всякий раз по-разному — под названием «Людмила» (1808), «Светлана» (1808-1812) и «Ленора» (1831). Эти переводы стали главным объектом полемики между «архаистами» и «новаторами» в 20-е годы XIX века. «Архаисты» критиковали переводы Жуковского за их эвфемистичность и «парафрастический» стиль (противопоставляя его более прямому «простому слову»). В 1816 году, пытаясь перевести балладу Бюргера на более живой русский язык, поэт Катенин перевел «Ленору» как «Ольгу» в манере и размере баснописца Крылова, используя простой язык русского крестьянства. Пушкин в этой полемике занял сторону молодого «архаиста» Катенина против «новатора» Жуковского. Действительным объектом полемики была проблема перенимания европейской культуры — русской. Иностраный материал должен быть ассимилирован русской литературой более глубоко с тем, чтобы она могла подняться над уровнем поверхностных подража-

ний XVIII века. Сам Бюргер в свою балладу включил некоторые элементы английской баллады.

Споры о переводе бюргеровской «Леноры» в 30-е годы XIX века были важны для Набокова потому, что в них шла речь о соединении двух литературных традиций на лингвистическом уровне. Пушкин насмехается над всеми переводами, основанными на изменении имени: в «Онегине» французское Трике на именинах Татьяны читает «Ля белль Нина», просто меняя имя на «Татьяна». Пушкинские высказывания в «Онегине» о поверхностных и глубоких возможностях интеграции слов из французского и других западноевропейских языков в русский отражены в «Лолите»: Гумберт пытается совместить свой литературный язык образованного европейца со сленгом американских школьников.

В поисках основ подлинно национального русского литературного языка Пушкин бродил по деревням вокруг своего поместья, собирая крестьянские присказки. Набоков, в поисках Америки для «Лолиты», путешествовал в школьных автобусах, чтобы проникнуть в интонационный строй речи американских школьников. Замечательная аналогия: в Америке нет крестьянства, и наиболее универсальный источник живой устной традиции, не тронутый литературщиной, представляют дети, их речь становится сырьем для создания новой национальной литературы.

В «Лолите» эта речь, в которой переплетены язык персонажей кино, реклам и т.п., противопоставлена выпендренной парафрастической манере Гумберта («Ты что очень книжно выражаешься, милый папаша», — говорит Лолита). Подобно Пушкину, Набоков достигает поляризации стилистических уровней путем живого лирического воплощения будничной речи, в которой «высокие» и «низкие» элементы переплетены и сведены воедино видением поэта, так что «низкий» уровень оказывается приподнятым, а выпендренная поэтическая дикция оживлена «простым словом». В «Онегине» и «Лолите» Пушкин и

Набоков создают систему языков, которые взаимно одухотворяют друг друга, в обоих произведениях «народный» материал введен в художественную ткань не на манер «Kunstmärchen» XIX века, когда народный сюжет просто оформляется литературным языком, но интегрируя волшебную сказку в повседневную «реальность» так, что ее трудно разглядеть и узнать.

«Лолита» является синтезом набоковского русского литературного наследия с культурой его новой родины. В «Онегине» Пушкин интегрировал западноевропейский романтизм в русскую культуру на низком уровне (народный) и высоким (Жуковский, Катенин и т.д.). Набоков делает следующий виток: производя новый синтез пушкинской ассимиляции английского, французского и немецкого романтизма в русскую традицию, включая ее в американскую низкую (Лолита) и «высокую» (По) культуру. Чтобы русская литература оказалась действительно ассимилированной в американский материал, она должна была проникнуть в плоть и кровь повести. Без микроскопа пушкинского «Онегина» русское наследие Набокова невозможно разглядеть невооруженным глазом. Трагедия «Лолиты» не только в утрате Набоковым его любимого русского языка, это еще и снижение Слова и мира воображения. И это то, что Набоков возвращает американской традиции, давая нам своего «Онегина» в наших рамках, создавая исходный пункт для нового, более совершенного синтеза.

Таким образом, динамически включая русскую культуру в мировую литературу, Набоков придает смысл утрате этой культуры, создавая новую огромную собственную вселенную, которая живо соответствует американскому миру вокруг него, от бабочек в Колорадо до детского сленга. Все характерные черты американской школы, теннисных кортов при отелях и телевизионных реклам становятся сырьем, из которого высококультурный поэт и в высшей степени педантичный естествоиспытатель создает свою новую родину. В этом Набоков может явить собой полезный пример для всех писателей-эмигрантов. ■

Детище соцреализма — «послушная литература»



Валерий Головской

Валерий Головской — журналист и критик. Работал в журналах «Искусство», «Искусство кино» и «Советский экран». Живет в США с 1981 года, преподает в Квинс-колледж (Нью-Йорк).

В статье, опубликованной в «Нью-Йорк таймс бук ревью», Василий Аксенов писал о ситуации в советской литературе: «...Советская идеология не имеет ничего против литературного качества. Наоборот, идеология приветствует высокохудожественную литературу, только при одном условии — она должна быть послушной. К сожалению, два эти свойства — качество и послушность — редко идут рука об руку. В результате, львиная доля признания властей достается бездарям, людям профессионально беспомощным. Награждаются серость, посредственность. Но, конечно, нет правил без исключений. Иногда официальным признанием пользуется и писатель, действительно популярный среди читателей...»¹

«Все сто томов...»

Аксенов очень точно расставил акценты. В самом деле, в современной советской литературе работает десятка два настоящих писателей, творчество которых достаточно заметно, имеет широкий общественный резонанс, а иногда и полное признание официальной критики, которая в последние годы подчас предпочитает не замечать «крамолу», не привлекать излишнее внимание читателя разгромными рецензиями. Однако в Союзе советских писателей, как

известно, девять тысяч человек, и они, а также сотни союзных литераторов ежегодно производят тысячи томов «послушной литературы». Такая литература отражает актуальные установки партии и правительства, не переходит допустимых границ критики негативных явлений, создает образы положительных и отрицательных героев согласно меркам, спущенным из недр партийного аппарата. Читателя не поразят здесь свежие характеры, незаштампованные коллизии, литературный стиль. Достоинства этих книг в другом: они помогают формированию более полного представления о реалиях быта в СССР, об образе жизни и морали общества «зрелого социализма».

Попробуем проанализировать несколько произведений массовой литературы с точки зрения проблематики, конфликтов и характеров персонажей. В качестве принципа отбора были взяты три элемента: 1) год издания — 1984, 2) имена авторов малоизвестны или вовсе неизвестны, 3) время действия — наши дни.

Произведенная (по каталогу и на основании аннотаций) выборка не претендует на репрезентативность, но все же, думаю, отражает процессы, происходящие в современной советской литературе.

Вот эти четыре книги с аннотациями:

1. И. Милькин, И. Новинская. Ее джинсовое счастье. «Гянджлик», Баку. Тираж — 10 тыс. экземпляров.

¹ Vassily Aksyonov. Success and the Soviet Writer. The New York Times Review. March 10, 1985, pp. 1, 34, 35.

«Героиня повести — молодая женщина, не лишенная природного обаяния, способностей, увлечена страстью к наживе. Жизнь жестоко наказывает ее: Света остается одинокой, вокруг нее образуется пустота. Переживая моральное банкротство, она впервые задумывается над истинными человеческими ценностями».

2. Владимир Котельников. Проект 240. «Московский рабочий», Москва. Тираж — 30 тыс. экземпляров.

«Молодой прозаик Владимир Котельников пишет о том, что ему хорошо знакомо, — о работе специалистов двух институтов: московского головного и периферийного филиала. В процессе острого производственного конфликта рождаются и конфликты нравственные, идет борьба старого с новым, передового с консервативным. Верх берет новое, рожденное сегодняшним днем».

3. Юрий Адамов. Реконструкция. «Советский писатель», Москва. Тираж — 100 тыс. экземпляров.

«В повести «Реконструкция» действие разворачивается в провинции, на крупном электромеханическом заводе, который необходимо реконструировать. За это борется директор завода и его единомышленники».

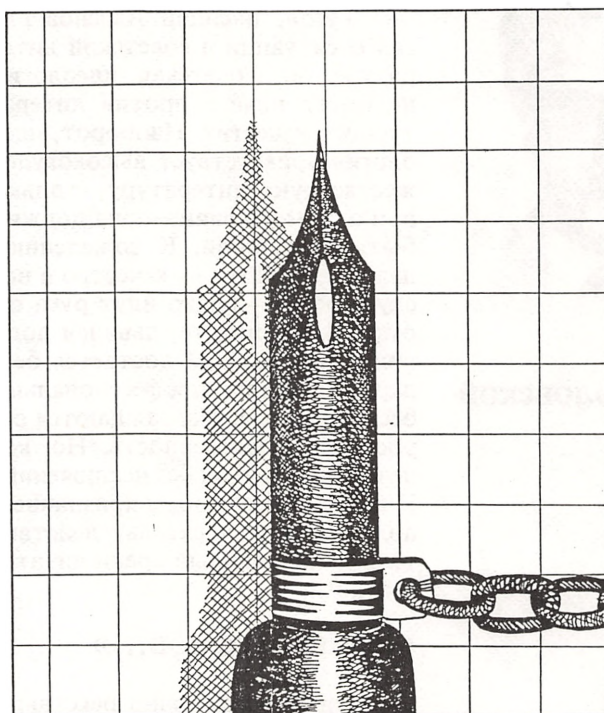
4. Вильям Козлов. Волосы Вероники. «Советский писатель», Ленинград. Тираж — 30 тыс. экземпляров.

«Новый роман ленинградского прозаика Вильяма Козлова — разноплановое произведение о любви и дружбе, о духовном мире человека, о его поиске истинного места в жизни, о призвании и романтике труда. Основное внимание уделено становлению героя — Георгия Шувалова — как личности. Вокруг него переплетаются непростые судьбы людей разных поколений».

Уже по аннотациям ясно, что перед нами литературная проблематика двух типов — производственная и нравственная. Характерны и заголовки: «Проект 240» и «Реконструкция» — типично производственные названия, в заглавии повести Милькина и Новинской четко выявляется авторское отношение — отрицательное — к героине. С «Волосами Веро-

ники» сложнее: только прочитав роман, узнаешь, что Вероника — истинная любовь героя. Она астроном, и у нее роскошные волосы. А кроме того, есть, оказывается, такая звезда — «Волосы Вероники»! «Абстрактность» заглавия соответствует и размытости аннотации с «поисками места» и «становлением героя как личности» — это при том, что герою 42 года! Зато незамысловатые аннотации к другим книгам полностью покрывают их содержание.

Я расположил книги под номерами от первого до четвертого по возрастанию их литературных достоинств. «Ее джинсовое счастье», изданное в Азербайджане, едва поднимается над уровнем графомании, авторы не в ладах с русским языком, говорить о по-



строению характеров и полноценных конфликтах не приходится. «Проект 240» (2) и «Реконструкция» (3) более характерны для массовой литературы: авторы владеют литературным языком на уровне среднего интеллигента, начитаны, в какой-то степени знакомы с проблемами заводской и институтской жизни в СССР. Наконец, «Волосы Вероники» — произведение опытного автора, умеющего создавать характеры, организовывать и разрешать конфликты, — принадлежит к разряду крепкой беллетристики.

Обратим внимание также на тиражи книг: они колеблются от 10 до 100 тысяч, а их средний тираж равен 42,5 тысячам — цифра немаленькая. Стоит вспомнить, что гонорар — важный рычаг в руках партийного руководства литературой в СССР².

Герои и проблемы

Какие же персонажи населяют эти книги?

Главная героиня повести «Ее джинсовое счастье» Света работает уборщицей на грузовом судне в Баку, живет в общежитии, а перейдя на работу в пивной ларек, приобретает кооперативную квартиру. Ее мечта — заграничные тряпки, машина и замужество.

Действие «Проекта 240» и «Реконструкции» происходит в провинциальных городах, обе книги целиком построены на традиционном для советской литературы конфликте «лучшего с хорошим». Герой «Проекта 240», инженер Алексей Коваленко, самозабвенно увлеченный своей работой, предлагает новое решение уже сданного проекта. Дирекция филиала института поддерживает его, а директор головного института в

Москве, естественно, отказывается продолжать работу над уже законченным «проектом 240». Новаторы и консерваторы схватились и в «Реконструкции». Директор Самарин предлагает ре-

² Авторский гонорар в СССР зависит от ставки за обычный (15 тысяч) или массовый (50 тысяч) тираж и от объема произведения в печатных листах. Ставки гонорара за печатный лист колеблются в зависимости от «ранга» писателя от 150 до 400, а иногда даже достигают 600 рублей.

конструировать завод, не оставившая его и не снижая плана. За него — министерство и рабочие, против — несколько инженеров и горком партии. Беда этих двух книг не в том, что авторы взялись за «бородатый» сюжет, а в том, что они не сумели повернуть его по-новому, как, например, Александр Гельман в «Премии», пошли по пути констатации общеизвестных фактов и описания проверенных ситуаций. Оно и понятно — обкатанные литературой и идеологическим начальством сюжеты гораздо безопаснее увиденных в реальной жизни.

Понимая несъедобность производственного конфликта в чистом виде, оба автора добавляют любовную линию. Адамов подробно живописует переживания молодого рабочего Николая, который влюбляется в работницу завода Тоню, только что ушедшую от беспробудного пьянницы, рабочего Зенкова. Николай берет Зенкова в свою бригаду, чтобы силой положительного примера перевоспитать несчастного, и требует от Тони узаконения их связи. Но Тоня не торопится: ей и так хорошо...

Алексей Короленко («Проект 240») встречает в Москве свою давнюю институтскую пассию Инку. Семейная жизнь у нее не сложилась: муж, не сумев защитить диссертацию, запил, разлюбил жену и ушел, оставив ее с ребенком.

Все эти истории рассказаны скороговоркой, поверхностно, чисто описательно. Описательность, недоверие к подтексту вообще характерны для массовой литературной продукции.

Надо ли говорить, что все анализируемые произведения завершаются благополучно и все большие и малые конфликты разрешаются — к удовольствию редакторов и цензоров. Некоторые отличия, впрочем, имеются. Развязку «Ее джинсового счастья» можно назвать «скрытой»: Светлана теряет мужа и любовника и на последней странице начинает сомневаться в ценности вещей, на которые потратила свою жизнь. Читатель остается в полной уверенности, что даже такая мешанка, как Света, в конце концов найдет свое место в социалистическом обществе. В модной стилистике не-

досказанности дается разрешение конфликта и в «Волосах Вероники»: герою кажется, что он, наконец, нашел свое счастье, но так ли это — читатель может только гадать, после того как перед ним прошли многочисленные увлечения героя.

Зато оптимизм «производственных романов» не оставляет никаких сомнений в победе нового над старым. В «Проекте 240» дело доведено до абсурда: филиал целиком и полностью доказывает свою правоту, и министерство решает сделать провинциальный институт головным, а московский перевести в филиал. Идея реконструкции (в «Реконструкции») побеждает при поддержке секретаря обкома и постановления ЦК КПСС.

Обкатанные литературой и идеологическим начальством сюжеты гораздо безопаснее увиденных в реальной жизни.

Персонажей этих книг легко разделить на положительных и отрицательных. Для положительных подобраны соответствующие характеристики: увлеченный, преданный своему делу, размышляющий... Среди отрицательных нет «черных характеров», герои скорее просто заблуждаются, и авторы оставляют им лазейку для исправления. Интересно, что преступления морального свойства осуждаются довольно вяло: это соответствует нравственным установкам конца 70-х — начала 80-х годов, когда шабашничество, блат и спекуляция стали настолько обычным явлением, что уже не могут вызывать резкого осуждения. С полной симпатией показан в «Волосах Вероники» механик автомастерской Боб, всюю использующий свое теплое местечко. Герой книги совершенно спокойно принимает услуги перекупщика-спекулянта Марка и даже оправдывает его существование. Лишь под конец он произносит слова осуждения и перестает покупать у Марка дефицитные товары, да и то главным образом потому, что тот очень уж дерет.

Настоящие «злодеи» — противники прогресса — изображены в «производственных романах». Таков, например, главный инженер в «Реконструкции» — он ведет подкоп под директора и использует машину в личных целях. Не повезло главному инженеру и в «Проекте 240» — это хитрый карьерист, не желающий замечать очевидные достоинства проекта. Он получает по заслугам...

Водка, дубленки, заграница...

Помимо сюжетных перипетий, в литературе важен фон, побочные события, отражение реальных проблем общества, в котором живут герои. С этой точки зрения, внимательный читатель откроет в разбираемых нами книгах немало интересного, и это, быть может, и есть самое привлекательное в них. Одна из весьма актуальных проблем, отраженных здесь, это — пьянство. Водка становится причиной крушения семей в «Реконструкции» и «Проекте 240», поголовно пьют рабочие завода, то и дело напиваются и отдельные персонажи.

В «Волосах Вероники» герои буквально одержимы жадой приобретения. По книге читатель легко может составить представление о том, что сейчас в СССР модно и что сколько стоит. Дубленка — тысяча рублей, куртка — 300, сапожки — 200. Кроме вечных джинсов, дефицитны американские сигареты, лезвия для бритв, книги. Света («Ее джинсовое счастье»), после пивного ларька попав на работу в книжный магазин, с удивлением убеждается, что на книгах тоже можно делать бизнес, и откладывает «Кюхлю», «Хищные вещи века», зарубежные детективы: «Люди готовы платить за них по 25 рублей и больше». А «Графиня Монсеро» Дюма идет в обмен на джинсы фирмы «Уикенд» стоимостью в двести рублей. Цены и фирмы вполне достоверны и заставляют лишь удивляться почти неограниченным возможностям покупателей, зарабатывающих 100-120 рублей в месяц. «Хватит ли на стоящую жизнь с тысячерублевым пальто, с уважением?» — спрашивает Света. Конечно, не хватит, но выр-

чает «вторая экономика», обнаженно предстающая на страницах современных советских книг.

«Вторая экономика», как известно, не в последнюю очередь питается загрантуризмом и командировками на Запад. Заграница и, прежде всего, Америка — предмет вождяленной мечты многих персонажей рассматриваемых книг. В «Волосах Вероники» командировки в США и ФРГ становятся даже частью интриги — за рубеж посылают тех, кто ближе к начальству, главный герой проявляет принципиальность, и его имя вычеркивают из списков. Вот характерный разговор сотрудников института: «А мне и предложили бы поездку в Америку, я отказалась бы, — сказала Соболева. — Очевидцы рассказывают, в сумерки в большом городе опасно выйти из дома. Убийства, насилия, грабеж! Моего знакомого в Чикаго среди бела дня ограбили. — Подумаешь, простые смертные! — усмехнулась Губанова. — Там в президентов и разных знаменитостей стреляют, как в куропаток... — Жуткая страна, — вздохнула Соболева. — Я с удовольствием съездила бы туда, — вмешалась Альбина Аркадьевна. — Одно дело читать про Америку, другое — посмотреть все своими глазами. — А какие там мужчины, — усмехнулась Грымзина. — И желтые, и черные, и красные. Про белых я молчу».

А вот другой научный сотрудник, которого отправляют в Штаты: «Честно говоря, на Америку я сильно рассчитываю, может, она меня встряхнет? Заработают во мне какие-то колесики-шестеренки, и я еще тронусь с места?..»

Автор, пожалуй, несколько преувеличил возможности скромного института по изучению окружающей среды отправлять сотрудников в США, но сама по себе такая мечта и конфликты вокруг командировок описаны вполне реалистично.

Нельзя не отметить еще две важные темы: любовь и партия. Как это ни странно, но во всех четырех произведениях в негласном соревновании побеждает любовь. В «Ее джинсовом счастье» о парткоме даже не упоминается, зато любви хоть отбавляй. 0:1. В «Проекте 240» тоже игнорируется руководящая роль партии, но и до

постели дело не доходит. 0:0. В «Реконструкции» парторг активен, даже выступает против горкома, но и герой получает свое в объятиях героини. 1:1. Наконец, у Вильяма Козлова парторганизация просто бездействует — автор объясняет это болезнью парторга. Его заместитель не внушает доверия: он ходит в джинсах и курит трубку. Впрочем, во второй части он активизируется, проводит собрание и пытается вовлечь «в ряды» главного героя. 2:1. В итоге 4:2 в пользу любви!

Если в парткомах лидируют мужчины, то в постели верх берут изголодавшиеся женщины. Лишь только мужчина на пороге, Света (Тоня, Оля) мгновенно распахивает халатик, обнажая стройные (полные) ноги, а то и живот. Бурно протекает роман героя «Реконструкция»: Тоня «кидалась ему на шею, впивалась поцелуями и, задыхаясь, бормотала какие-то слова». Любовные свидания совершенно опустошают героя: «Он уходил от Тони усталый, в отупении. Мыслей не было». Хотя средства воплощения любовных утех в сегодняшней советской литературе остаются довольно бедными, сам факт дозволенности откровенных постельных сцен весьма многозначителен. Очевидно, идеологи пошли в этой области на серьезные уступки.

Как известно, социалистический реализм предписывает писателям изображать жизнь с позиций партийности и народности, создавать образы положительных героев, способных увлечь своим примером трудовые массы. Все эти «установки» метода в той или иной степени соблюдены в разобранных книгах. Но соцреализм силен, по идее, также борьбой с отжившим, мешающим движению вперед. Как обстоит дело с критикой в данных произведениях, что и с какой степенью остроты критикуется? В первых двух книгах почти нет прямой критики, так, кое-что, по пустякам. В «Волосах Вероники» объекты критики довольно мелки: страсть отдельных героев к наживе, к стяжательству, громкая музыка в ресторанах, обнаглевшие таксисты... Более сильные критические акценты содержатся в «Реконструкции». Если учесть, что именно эта книга вышла тиражом в 100 тысяч эк-

земпляров, можно сделать вывод, что критические акценты в ней официально одобрены. Назову только прямые объекты критики, расположив их по возрастающей:

— беспорядки на заводе (грязь, авралы и пр.),

— выпуск бракованной продукции («В последующие дни брак снизился до нормы»),

— пьянство рабочих,

— отправка рабочих на картошку,

— недостатки общественного питания,

— недостатки в работе транспорта,

— фиктивное выполнение плана,

— местничество (в райкоме, горкоме),

— некомпетентность начальства («Чиновники в министерстве совсем соображать перестали» или «Мне надо, чтобы начальство немножко больше думало, как сделать, чтобы мне лучше работать было»),

— централизованное планирование («Все настолько привыкли к тотальному планированию, что никому в голову не приходит та простая мысль, что составлять планы по изобретательству и, тем более, требовать их выполнения, — чужь несусветная, которая естественно рождает очковительство и неразбериху»).

Как видим, широта критического фронта поразительна. Да и резкость высказывания не совсем обычна. Разумеется, обком партии после постановления ЦК наводит порядок, но картина всеобщего идиотизма на низах впечатляет. Конечно, молодой писатель не проявил здесь самостоятельности, критика точно дозирована и взвешена.

На мой взгляд, рецензируемые книги типичны для нынешнего этапа соцреализма (со всеми допусками на время). Авторы их создают послушную, по меткому определению Василия Аксенова, управляемую литературу. С такими книгами легко цензорам, редакторам, Союзу писателей и партийным чиновникам, ответственным за культуру. Ну а что же читатели, вынужденные без конца пережевывать пресную пропагандистскую жвачку соцреализма? Впрочем, кого это всерьез заботит! ■

Национальная по форме, социалистическая по содержанию



Мира Блинкова

**Мира Блинкова —
окончила
литературный факультет
МИФЛИ.
Работала
в Институте истории
Академии наук СССР.
Печаталась
как литературный критик
в журналах
«Новый мир», «Москва»,
«Дружба народов» и др.
Автор монографии
«Рувим Фраерман».
Переводила прозу
народов СССР.
С 1977 года живет
в Израиле,
печатается
в русскоязычной прессе.**

**Как я попала
в ряды тех,
кто вносит свой вклад
в расцвет
многонациональной
советской культуры**

Писательница А. славилась не талантом, а фантастической работоспособностью. Кроме того, была известна своей отзывчивостью. Узнав, что я остро нуждаюсь, она сразу приняла решение — передать мне предложенный ей перевод (с подстрочника) повести осетинского писателя. Она сама позвонила в редакцию национальной прозы издательства «Советский писатель» и горячо отрекомендовала меня.

— ...Как только подпишут договор — сразу 25 процентов, — втолковывала она мне, — уже какие-то деньги; потом — «одобрение» — еще 35, по выходе сигнала — оставшиеся 40, а там и тиражные — еще 50. В Совписе проза всегда идет двойным тиражом.

Получив в издательстве подстрочник, я уселась с ним возле гардероба, где стоял овальный старинный столик, а возле него уютный диванчик. Но перелистать рукопись не удалось, потому что, как всегда в таких учреждениях, кругом оказалось много знакомых. Литераторы, которые обычно толкуются по редакциям, как правило, не очень знамениты, но зато прекрасно знают, где здесь что лежит.

Каждому, кто подходил ко мне, я подробно излагала свои сомнения: вот, предлагают перевод с осетинского, а какое я имею отношение к Закавказью? Никогда ничем подобным не занималась, а еще — аванс, вдруг у меня не пойдет, как буду отдавать? Слушатели, как один, задавали те же вопросы: каков тираж, сумею ли до выхода книги протолкнуть перевод в периодике, каковы мои связи с другими издательствами. Узнав фамилию автора, переглядывались и намекали, что, если у меня столько сомнений да нет опыта, они бы...

Подошла моя приятельница, сотрудница издательства. Прислушалась, потом выхватила меня из-за стола, втокнула в свою комнату и зашептала, тыча пальцем в рукопись:

— Он опубликует этот свой мусор десять раз массовыми тиражами, а тебе — только ходить по кассам и расписываться в ведомостях! И как только та графоманка отдала такой наваристый кусок! А ты еще устраиваешь здесь сцену у фонтана, корова!

— А вдруг у меня не пойдет? — Я никак не могла избавиться от сомнений. — Может быть, попробовать без договора, а то аванс, ответственность...

— Без договора и папку эту не открывай! Прямо, не пойдет у нее! Фолкнера, что ли, тебе предлагают переводить, Кафку? И пойми ты, помочь всегда трудно, а нагадить может любой! Любой из тех, перед кем ты сейчас изли-

валась! Ты, что ли, не знала, как гонятся за этой работой?

...Осетинские крестьяне живут в беспросветной нищете и полном бесправии. Единственный свет в их жизни — дружба с русскими пролетариями, которые оказывают им всестороннюю бескорыстную помощь. Когда тем и другим стало уже совсем невмочь, разразилась революция, и, к великому счастью всех простых, честных и добрых людей, в крае установилась советская власть...

У меня опустились руки.

Потом решила: надо максимально сдобрить текст этнографическими подробностями, придумать какие-нибудь характерологические отличия для действующих лиц. Завела знакомства с этнографами края, изучила изданную по-русски литературу Северной Осетии и ее эпос.

Автор принял все мои предложения, не протестовал и против радикальных сокращений. На мое счастье, он сам относился к своему сочинительству со здоровой иронией.

Первый опыт

Над осетинской повестью я работала долго и истово. Ловила автора в самом начале его приездов в Москву — до встреч с московскими собратями, после которых у него бывали приступы печени и тяжелая головная боль. Обговаривала с ним все изменения по тексту, который постепенно терял сходство с оригиналом. Просила читать вслух отрывки на осетинском, чтобы уловить ритм языка, его интонационные особенности в длинных фразах, в коротких, в диалогах.

Наконец, сдала работу. На следующий день мне показалось, что надо заменить одно слово (весь текст на 120 страницах помнила наизусть), и помчалась в издательство. Когда, задыхаясь от волнения и неловкости, я попросила секретаршу дать мне на минутку текст, чтобы исправить в нем одно слово, все, кто находились в комнате, расхохотались и долго не могли успокоиться.

Моим редактором была заместительница заведующего редакцией национальной прозы. Она была так занята административ-

ной и партийной работой, что до рукописей у нее просто не доходили руки. Они лежали в шкафу до последнего момента, а потом в спешке и панике сдавались в набор. Я этого вначале не знала и, не получая ответа более полугода, решила, что моя работа не принята. И вдруг сразу — перевод на весьма приличную сумму (приблизительно 4 моих месячных зарплаты) из республиканского журнала* и телеграмма из издательства: «рукопись надо срочно сдавать в набор, просят зайти в редакцию». Редактор встретила меня с тревогой — у нее много замечаний, времени нет, что делать? Исправлений было три или четыре слова по всему тексту...

Узаконенно принимаются в печать произведения, находящиеся за пределами литературы.

Автор, человек в литературных кругах влиятельный, заявил, что отныне будет работать только со мной. Сразу же появились доброжелательные отклики в печати, и редактор пообещала:

— Присмотрим для вас еще что-нибудь, конечно, небольшое.

Тогда мне было непонятно, почему, если моя работа так хорошо принята, следующая будет «конечно, небольшой»...

И эта работа может доставлять удовольствие

Действительно, мне вскоре предложили перевод. Был он, согласно предупреждению, небольшой, но зато очень трудный. Теперь моим редактором была молодая, маленького росточка женщина, одновременно серьезная и смешливая. Протянув рукопись, она спросила:

- За месяц вытянете?
- Так срочно?

* Согласно советскому авторскому праву любой вид литературного труда может быть до его публикации отдельным изданием напечатан в периодике и тоже оплачен полностью.

Она недобро покосилась в сторону стола моей первой редакторши:

— Рукописи валяются до последнего момента, потом приходится гнать!

...Небольшая повесть носила нравоучительный характер. Абхазский крестьянин для строительства фактически ненужного ему дома — у него уже был один — пытался нечестным путем добыть со стройки кирпич, но ее руководитель оказался честным человеком и кирпича не дал, несмотря на то, что в его честь было устроено пышное застолье...

Я решила, что спасти положение может лишь откровенно юмористическое изложение всей этой истории. К счастью, я бывала в Абхазии и знала, как звучат порусски специфически абхазские обороты. Опять штудировала всю доступную мне литературу, опять теребила этнографов, писала каждую фразу в нескольких вариантах, но с работой справилась в срок.

Принимая текст, редактор спросила, смогу ли я наведаться ровно через неделю, чем немало удивила меня, поскольку я еще не пришла в себя после многомесячного ожидания ответа по поводу предыдущей работы.

Встретила она меня восторженным возгласом:

— Ну, это да! До чего же здорово!

В этот момент ее позвали к телефону, она протянула мне рукопись и отошла. Я взглянула и оторопела: на каждой странице было по несколько исправлений. Решив, что ее похвала носила иронический характер, я заскучала.

— Что, совсем не годится? — Я старалась придать своим интонациям полную независимость, чуть не разухабистость.

Она внимательно посмотрела на меня:

— С чего вы взяли?

— Правки-то, правки...

Она вытащила из сумки папку и раскрыла передо мной:

— Вот обычная правка.

Между строк, на полях, на обороте было густо исписано. Машинписный текст трудно было различить.

...Гита Левинсон, с которой мне посчастливилось работать, была трудолюбива, как пчелка, работа-

ла быстро, аккуратно и с энтузиазмом. Безупречная грамотность, высокая общая культура, тонкое чувство языка и абсолютный литературный слух делали ее редактором экстра-класса. Держали ее в редакции на самых тяжелых работах и на минимальной ставке. Мы с ней сразу подружились и работали весело. В нашей деятельности был элемент игры — делать из тех, скажем интеллигентно, экскрементов, которые мы получали, если не конфеты, то что-то относительно съедобное.

Наше содружество продолжалось до того времени, пока ее не уволили. Приняв христианство, она отважно вымарывала из текстов богохульные обороты и слово Бог писала с большой буквы. Редакция испугалась и не без сожаления рассталась с ней.

Некоторые сведения о том, как создается национальная по форме...

Вскоре я разобралась в возне на кухне, где представители «первой среди равных» выпекали изделия, выдаваемые за достижения «братских народов».

Прошу учесть: я не веду речь о литературах, имеющих свою историю и традиции. Произведения этих литератур переводят профессиональные переводчики непосредственно с оригинала, стремясь к максимальной идентичности с ним. Перевод же, осуществляемый с помощью подстрочника, чаще всего требует радикальной обработки основного содержания оригинала, иначе даже при самых пониженных требованиях, его публиковать невозможно. Если народы, которых таким образом «выводят в свет», и имели какой-то опыт в литературе, то лишь в сфере народного творчества или поэзии. В прозе они делали первые шаги. Эстетическая беспомощность и заведомые неискренность и лживость загоняют эту прозу на самые неблагоуханные задворки современной советской литературы.

Взаимосвязь главных союзных руководящих сил и национальных исполнителей в этой сфере идеологического предпринимательст-

ва многослойна и зигзагообразна. От подчиненных народов требуется полнейшее восторженное повиновение — это само собой. Но зато тех, кто верно служит режиму, кто удачно потрафил, награждают по-царски. **УЗАКОНЕННО** принимаются в печать сочинения, находящиеся за пределами литературы. **УЗАКОНЕННО** доводят их чужими руками до внешне профессионального уровня. **УЗАКОНЕННО** никем не читаемые книги издаются массовыми тиражами, хотя известно, что эта продукция абсолютно не пользуется спросом*. А после публикации «перевода» в центральном издательстве перед национальным писателем открывается зеленая улица и на родном языке. И он готов на полный компромисс со своей национальной и человеческой совестью, чтобы обеспечить себе безбедное существование и различные привилегии, связанные с положением признанного литератора.

Разумеется, в каждой республике есть трудолюбивые и способные люди, занимающиеся честным трудом — физическим или интеллектуальным. Но, если жителю «нацреспублики» лень учиться и неохота утруждать себя ежедневной работой, ему самая дорога в писатели.

Можно предположить, что среди тяготеющих к литературе людей есть и талантливые, но мне не приходилось читать в переводе с подстрочника эстетически полноценное, самостоятельное по мысли произведение. Если бы эти достоинства были в оригинале, то в переводе хоть что-то из них сохранилось бы.

...Так вот, человеку хочется быть писателем. Он начинает, естественно, с проб в местной печати, благо журналы и газеты издаются по всей стране в изобилии. Иногда ему удается издать в сво-

ем родном городе книгу. После этого начинается: всякими правдами и неправдами заводятся полезные знакомства, организуются связи с людьми, которые могут протолкнуть перевод его сочинения в столичном издательстве, заключаются разного рода сделки. Часто «местный» литератор готов отдать весь гонорар переводчику, если тот сумеет опубликовать перевод в Москве.

Удача этого литератора зависит от многого: от родственных связей, от дружбы с местной властью, от отношений внутри республиканского Союза писателей, от заинтересованности влиятельных русских литераторов и, разумеется, от умения использовать литературно-политическую конъюнктуру. Одним словом — от чего угодно, но только не от собственной одаренности. Нетрудно представить себе, к какой развращенности приводит эта система. Цинизм добившегося успеха умельца возрастает по мере укрепления его положения: он уже твердо ориентируется на «доведение» его сочинения русскими собратьями до необходимой кондиции и откровенно этого требует. Снисходительное отношение к «национальной по форме» так прочно вошло в литературный быт, что на него претендуют даже писатели, не имеющие на то и во все никаких оснований*.

Политика в области публикации национальных литератур следует принципу — всем сестрам по серьгам, т.е. равномерному распределению выпуска книг по языкам (или республикам). Естественно, что при такой постановке дела художественные достижения — дело третьестепенное. Правда, видимость отбора и объективной оценки соблюдается: для издания в переводе принимаются лишь те произведения, которые опубликованы в оригинале, каждая рукопись подстрочника рецензируется писателем, обычно — членом Союза

* Мало того, искушенный советский читатель часто проходит мимо настоящих художественных произведений, отпугнутый нерусской фамилией автора, и вне поля его зрения оказываются весьма значительные явления литературы, например, творчество армянина Гранта Матевосяна, азербайджанцев — Ч.Гусейнова и пишущих порусски братьев Ибрагимбековых.

* Так, например, гневно выговаривал редакции «Нового мира» Вадим Собко за то, что журнал опубликовал мою отрицательную рецензию (1960, № 4) на его пошлейшее сочинение: дескать, вместо того чтобы поддержать младшего брата, помочь ему, вы над ним издеваетесь!

советских писателей. Но, как правило, эти рецензии носят поверхностный и формальный характер.

Я сочиняю повесть из жизни чувашской городской интеллигенции

...Подошла очередь определенной республики. Ей отпущен некоторый листаж и упустить его было бы неппростительным безрассудством. Московская редакция, занимающаяся этой литературой, тоже должна выполнить свой план. Естественно, что в дело идет любая макулатура, которую в данный момент подкинули обстоятельства. Так, однажды счастливый жребий выпал на чувашскую прозу. Редакция располагала сборничком писателя Ф., таким маленьким и плохоньким, что его спланировали нам с Гитой. После обычного (при такого рода работе) сокращения книжка не дотягивала до запланированного объема. И тогда Ф. стал срочно, по 3-4 страницы в день, присылать нам подстрочник своего произведения, которое было опубликовано в чувашском журнале. Уж на что мы с Гитой были закаленными людьми, но и то растерялись — так бессмыслен был этот графоманский бред. Но: книга в плане, листаж надо дотягивать. Делать нечего, и я решила сочинять повесть. У автора взяла тематический каркас в самом грубом очертании, профессии героев и имена некоторых из них — некоторых, потому что фантастические неграмотность и безвкусица сказались даже в выборе имен. Самым уморительным было то, что моя халтурная подделка пользовалась успехом у сотрудников издательства. Они с удовольствием читали корректуры и, передавая их друг другу, говорили, что в Чувашии, оказывается, есть настоящая литература. Но — смех смехом, а дело запахло скандалом. Опубликованный в чебоксарском журнале вариант был настолько ниже даже привычного для чувашского читателя уровня, что его подвергли основательному разносу. Выход повести в столичном издательстве в другом виде мог быть использован против Ф. (с московским изда-

тельством связываться бы не стали). Хитрый Ф., дождавшись подписания сверки в печать, явился в издательство с заявлением, в котором отрекался от авторства. Его отправили с этой клязуйкой восвояси, но зато он мог размахивать ею в своем чувашском Союзе писателей.

Некоторые сведения о социалистической по содержанию

Должна признаться: из книг, изданных таким образом, — то есть обработкой подстрочника — я читала лишь те, которые мне нужны были для работы. Поэтому не исключено, что мои сведения о них не совсем полны и справедливы. Но все же позволю себе наметить черты, которые мне представляются характерными для этого рода продукции.

Один элемент присутствует в ней почти неукоснительно — образ русского человека, как правило, рабочего или революционного деятеля, если речь идет о дореволюционных временах, или партийного работника, а то и представителя советской интеллигенции, если действие происходит в наши дни. Герой этот является воплощением великодушия и мудрости, с его помощью разрешаются самые сложные или трагические проблемы. Нет его в тех произведениях, в которых перепеваются мотивы народных сказок, эпоса, или в очень коротких рассказах типа притч.

В откровенных беседах большинство авторов говорило мне о советском воздействии на жизнь их народа с тоской и горечью, о дореволюционных временах — о слов старшего поколения — как о золотом веке. К их мыслям и чувствам сочиняемое ими не имело никакого отношения.

Более или менее общую тенденцию можно было заметить и в характере воспроизведения национальных традиций. Прежнее угодливо отрицательное отношение к ним (старый мир разрушим до основания!) стало заменяться — в общем потоке разрешенного до определенных пределов возрождения национализма — некоторой

дифференциацией. Имеются хорошие, благотворные народные обычаи, а есть — вредные, отжившие, несозвучные... Первые, естественно, воспевались, вторые — клеймились. Проявлялась эта тенденция с некоторыми вариациями в зависимости от специфических условий республики. Например, маленькая Абхазия, собрав остатки горской отваги и национальной гордости, изо всех сил боролась за отделение от Грузии, считая, что гнет центральной власти для нее менее обременителен, чем гнет ближайшего соседа. В литературе эта ситуация оборачивалась таким образом: все благородные традиции — истинно абхазские, все неразумные, мешающие — навязаны грузинами, даже точнее — мингрелами. Иногда отрицательные герои носили мингрельские имена.

Как во всяком непрофессиональном сочинительстве, в этой прозе часто бросалось в глаза несовпадение авторской рекомендации персонажей и их объективного характера. Иной раз автор не понимал непривлекательности собственных героев, представляя их «от себя», декларативно, как людей достойных и положительных... Поэтому иногда приходилось вносить в эти характеры принципиальные изменения. Особенно решительную интервенцию в текст переводчик вынужден был предпринимать в тех случаях, когда описывались поступки, связанные с национальными обычаями. Естественные для автора, они часто не могли быть приняты читателем, воспитанным в других нормах. Например, в одной из переведенных мной повестей два мальчика по 8-9 лет хладнокровно продумали и вполне толково осуществили убийство своего обидчика (он же — классовый враг). Конечно, русский читатель мог быть подготовлен к такого рода героизму благодаря бессмертному Павлику Морозову, но все же мне показалось необходимым внести в эпизод некоторые изменения.

Разумеется, принцип воспроизведения национальных характеров и обычаев точно координируется с мировоззрением автора, с его профессиональным мастерством и нравственностью. Поэтому мне представляется убедительным

сравнение этого эпизода с рассказом о мести пастуха Махаза из романа Ф.Искандера «Сандро из Че-

гема». К почти мистической вере горца, что только кровью обидчика можно смыть оскорбление, тут добавлялось предположение, что никто не вступился бы по з а к о н у за поруганную семью и хитрый совратитель продолжал бы жить, как и прежде, — благоустроенно и безмятежно. К тому же, действия мстящего были отнюдь не вероломны, он был готов понести наказание и даже добровольно сдался в руки властей. Из этого эпизода можно понять, что для абхазца не существует альтернативы, жить ли с оскорбленной душой или смыть бесчестие любой ценой, хотя бы свободы или жизни.

Эпизод мести в книге Искандера создан во славу достоинства человека, в книге моего автора — во славу классовой борьбы и победы пролетариата. Первый вызывает сочувствие и уважение, второй — отвращение и зловещие ассоциации.

На кухне кормушки

Независимо от того, насколько оправдана нетребовательность к «нацпрозе», нельзя не разделять равнодушие к ней того, для кого, якобы, фабрикуется ее перевод, — русского читателя. «Переводчик» может сделать сюжет динамичнее, украсить текст небезынтесными этнографическими деталями, прибавить психологической убедительности типажам, снять налет излишних преувеличений, в его власти оживить книгу юмором либо подпустить лирики. Одним словом, он может довести сочинение до в н е ш н е профессионального уровня. Но основа, как правило, остается плоской, примитивной и вульгарно верноподданической. Переводчику же, для перечисленных косметических ухищрений, необходимы определенное старание и выдумка.

Не буду грешить на рядовых сотрудников редакции — они бывали рады, если «перевод» выглядел прилично. Но не это определяло принцип распределения данной доходной работы, и потому интересы работавших над книгой редак-

торов расходились с интересами тех, кто стоял над ними.

Безнравственность самого существования подобной литературной промышленности влечет за собой грязный протекционизм, подкуп и взяточничество, в которые втянуты не только руководство издательства, но и Союз писателей, и некие влиятельные, хотя и не всем известные персоны. Поэтому самые объемистые и перспективные в смысле переиздания тексты доставались маститым литераторам, которые в данный момент почему-либо нуждались в подкормке. Есть основания предполагать, что они уделяли часть гонорара заведующему редакцией, человеку добродушному, неплохому администратору, но запойному пьянице. Получив свою долю, он стоял горой за своих благодетелей, которые всюду злоупотребляли его «слабостью». А «доводить» рукопись-то надо было, и эта работа падала на редакторов, и часто чем более маститым был «переводчик», тем тяжелее приходилось редактору.

Было еще одно корыто в этой кормушке — внутренние рецензии. Их оплата производилась по прочитанному листажу, и иногда автор такой рецензии получал больший гонорар, чем за серьезную статью, опубликованную в престижном журнале. Эта работа давалась только членам Союза писателей, но и для них добраться до этого ручейка считалось большой удачей.

Я нарушила правило — открыла папку до заключения договора

Некоторые авторы, чьи произведения я обрабатывала для «Советского писателя», добивались после этого публикации своих произведений по-русски в республиканских издательствах и просили меня выполнить перевод. Местный союз писателей оформлял командировку, и я знакомилась с краем — его природой, бытом, выясняя подробности, которые могли понадобиться.

Однажды я так попала в Махачкалу (Дагестан). К моему удивлению, ко мне в гостиницу один за

другим повалили писатели с подстрочниками. В их представлении я была маститым московским литератором, и они, бедные, надеялись, что я смогу оказать им протекцию.

Я самоотверженно читала подстрочники, хотя понимала, что не найду ничего интересного, а если и найду, то не в моих силах проталкивать незапланированные рукописи.

К немалому своему удивлению, я обнаружила в куче макулатуры необычный текст — предельно просто изложенную историю одной трагической судьбы. Так естественно и неотвратно шла эта жизнь к гибели, раздавленная надвинувшимися на нее событиями, так безвинна и простодушна была жертва общественных катаклизмов, что незатейливость сюжета обернулась глубокой многозначительностью, а примитивность повествовательной манеры незаметно и органично обратилась почти символической фантазмагорией.

Я была поражена: все остальное, написанное автором этой повести, не приближалось к искусству даже на почтительное расстояние. На мой не вполне деликатный вопрос, как это получилось, что он создал такую интересную вещь, он откровенно разъяснил, что просто пересказал всё ему известное о жизни одной женщины. Наверное, это был тот феномен, когда события преисполнены такой содержательности, что чем безыскусней их пересказ, тем более полноценным оказывается художественное произведение. Тот верноподданический вздор, который писатель считал необходимым добавить (и без которого повесть не увидела бы света), легко отшелушивался от ее основного содержания.

Впервые я нарушила издательскую заповедь и «открыла папку» до заключения договора.

Впервые я работала над переводом с увлечением, ответственностью и с острым желанием, чтобы его читали.

Впервые переведенное мной произведение не было опубликовано по-русски. ■

Гамлет Бориса Пастернака



Витторио и Клара Страда

*Витторио Страда —
профессор университета
Ка Фоскари в Венеции.
Автор многих работ по истории
русской и советской литературы.*

*Клара Страда —
литературовед.
Преподает русскую литературу
в университете в Падуе (Италия).
Автор ряда работ о Блоке,
Достоевском и др. писателях.*

В разные годы одного исторического периода были написаны два русских романа, с наибольшей четкостью и насыщенностью воплотившие нравственно-исторический опыт революции, которая, распростившись с первоначальными иллюзиями, переживала процесс самопроверки. Это — «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова и «Доктор Живаго» Бориса Пастернака. Их появление ознаменовало начало новой фазы русской литературы советского периода: бесповоротное вырождение планируемой властью литературной деятельности, именуемой «социалистическим реализмом» (самоубийство Александра Фадеева, самого искреннего его поборника, как бы символически подводит итог целой эпохе), и возрождение живой творческой связи с великой и свободной дореволюционной русской литературой.

«Двойная мифоструктура»

Романы Булгакова и Пастернака представляют собой новое слово — и формально, и по существу — также и по сравнению с литературой двадцатых годов. Их новизна, в частности, состоит в освобождении от комплекса неполноценности перед революцией, кото-

рый как бы сковывал даже лучших писателей первого пореволюционного десятилетия; впрочем, тогда революция поворачивалась к ним своими привлекательными сторонами, оставляя некоторую долю независимости тем, кто видел свой долг в сотрудничестве с нею.

Для «Доктора Живаго» и «Мастера и Маргариты» характерна существенная общность, проявляющаяся в глубинных пластах повествовательной структуры, а именно: присутствие сверхъестественного и вторжение потустороннего, беспрецедентное в великой литературе нашего времени. Общим для обоих романов является не только то, что главным героем в них — художник (романист и поэт), но и то, что частью они написаны самими героями. У Булгакова часть романа, написанная Мастером, составляет половину всего текста; «Мастера и Маргариту» можно определить как «философско-исторический роман», построенный на евангельском мифе, обрамляемый другим романом, повествующим о жизни автора. В «Докторе Живаго» творчество главного героя представлено тетрадью стихов, сохраненной его друзьями и изданной приложением к роману, а также рассеяно в его собственных «романных» высказываниях. Качественно-жанровое соотношение здесь другое, но можно сказать, что перед нами — поэтический сборник, предисловием к которому служит биография его автора. В первом случае мы имеем дело с «романом в романе», во втором

* Доклад, прочитанный на Международном симпозиуме «Борис Пастернак и его время» (The Hebrew University of Jerusalem, 19-24 мая 1984 г.).

— с «собранием лирических стихотворений в романе», и в обоих случаях роман теряет свою монолитность, распадается надвое, причем обе части зеркально отражаются друг в друге, создавая два динамически сложных художественных организма.

Есть еще один элемент, объединяющий оба романа, который можно было бы определить как «двойную мифоструктуру»: глубинная мифическая структура представлена образом Христа, как явствует из «философско-исторического романа» в «Мастере и Маргарите», и поэтического собрания Юрия Живаго, да и вытекает из этих произведений в целом. На эту первичную архетипическую структуру накладывается, однако, вторичная литературно-мифическая структура, восходящая у Булгакова к «Фаусту» Гете (это видно из эпиграфа и самого названия), а у Пастернака — к «Гамлету», как ясно из первого стихотворения и самого образа героя. Задача исследователей — показать, как действует эта «двойная мифоструктура» в обоих романах, порождая две различные системы поэтических значений. Здесь, однако, мы оборвем нашу параллель между обоими произведениями, так как темой настоящих размышлений является лишь пастернаковский роман.

Предшественники

Прежде чем перейти к анализу наложения образов Живаго, Христа и Гамлета, зададимся вопросом: нельзя ли выявить в русской литературе генеалогию этого ассоциативного пучка значений? Мы обнаружим, по крайней мере, двух типологических предшественников: это — Обломов и князь Мышкин, наделенные ярким духовным богатством, не находящим применения в жизни, и чертой, которую можно было бы определить как «благородство в поражении». Соотнесенность с Христом в Мышкине очевидна, гораздо менее очевидна его связь с Гамлетом, тогда как для Обломова справедливо обратное, и оба они связаны с образом Живаго.

Примерно в ту же эпоху было создано еще одно произведение, на котором необходимо остано-

виться в связи с романом Пастернака. Речь идет о лекции Тургенева «Гамлет и Дон Кихот», прочитанной в 1860 году. Тургенев применяет типологическую дихотомию, отталкиваясь от противопоставления шекспировского и сервантесовского героев: в Дон Кихоте воплощена нерушимая вера в систему вечных надиндивидуальных ценностей, полнейшее подчинение им, вплоть до жертвоприношения ради них всеми личными интересами; Гамлет, наоборот, полностью погруженный в нескончаемый анализ, не способен разорвать магический круг саморефлексии и выразить себя в благородном поступке. Если Дон Кихот не знает, то Гамлет знает слишком много, и избыток сознания

Жизнь Юрия Живаго — это житие, жизнь мирского и современного святого, который оказывается один перед лицом филистерства своего времени.

лишает его возможности высшего акта преданности — любви. Тургенев проникательно затрагивает самую суть вопроса, его типология устанавливает два архетипических характера романых героев. Правда, он создает два «идеальных типа», в действительности же «гамлетовское» и «донкихотское» начала в чистом виде никогда не встречаются, а представлены в бесконечных и разнообразных смещениях. Сам шекспировский Гамлет наделен донкихотской «центробежной» силой в свои университетские годы, когда, как ренессансный герой, он исполнен веры в гуманистические идеалы. А Дон Кихот, в свою очередь, не лишен «центростремительного» начала: он умирает не как Дон Кихот, а как Алонсо Добрый, в состоянии, так сказать, безмятежного «гамлетовского» разочарования. Если же истолковывать Дон Кихота как своего рода мирского Христа, а сервантесовский роман — как нечто вроде авантюрного Евангелия, то мы увидим, что «двойная мифоструктура» живаговского Христа-Гамлета входит во взаимно дополняющую турге-

невскую пару литературно-мифических образов Дон Кихота — Гамлета.

Эта система литературных отсылок представляется логичной, если интерпретировать образ Юрия Живаго на фоне таких литературных персонажей XIX века, как Обломов и князь Мышкин. Если же отказаться от общей перспективы и прочитать первое лирическое стихотворение Юрия Живаго «Гамлет», то станет ясно, что эта перспектива, хоть и закончена, но недостаточна и что тут открывается новая перспектива, преобразующая первую. Она обращает нас к именам Александра Блока и Владимира Маяковского.

В первом стихе «Гамлета» фигура героя не дана непосредственно, то есть в одной из имеющихся его интерпретаций, но предстает опосредованно, в сценическом воплощении: Гамлет — это актер, играющий Гамлета, а театральные подмостки — это измерение, в котором действует шекспировский герой. Актер, выходящий на сцену и говорящий от первого лица, сразу выявляет неоднозначность и двойственность своей роли и функции: он и олицетворяет персонаж, и одновременно выступает в роли «ясновидца», улавливающего в шуме зрительного зала, «что случится на (его) веку».

К роли Гамлета и функции ясно-видца присовокупляется мотив религиозной миссии, благодаря наложению слов Христа, произнесенных в Гефсиманском саду («Если только можешь, Авва Отче, / Чашу эту мимо пронеси»). Отождествление роли и миссии продолжено в третьем четверостишии, где проявляется еще один мотив стихотворения, а именно: мотив сопротивления этой роли-миссии и мотив *amor fati*, любовного принятия судьбы. Наконец, в финальной строфе возвращается Я, противопоставленное другим, но заостряется одиночество («я один») и враждебность окружения (характеризуемого на евангельский манер как «фарисейство»); преобладает чувство предопределенности судьбы («Но продуман распорядок действий») и ее неминуемости («И неотвратим конец пути»), а пословица последнего стиха, как итоговая сентенция, утверждает, что жизнь — это тернистый путь моральных испытаний

(«Жизнь прожить — не поле перейти»). Театральные подмостки расширились таким образом до *Theatrum mundi*, и на язык театра налагается язык Евангелия, а название стихотворения бросает отсвет шекспировской трагедии на актера, который, играя роль Гамлета и выполняя миссию пророка и спасителя, преодолевает момент сомнения в полном приятии своей судьбы. Это — судьба, принесенная в жертву и во спасение.

Наконец, остается упомянуть, что в романе есть недвусмысленная ссылка на стихотворение «Гамлет» (том 2, часть 15, глава 11), где приведен прозаический отрывок Юрия Живаго и высказывается предположение о его связи с этим стихотворением. Тема этого отрывка — город. Приводим здесь только заключительные строки: «Беспрестанно и без умолку шевелящийся и рокошующий за дверьми и окнами город есть необозримое вступление к жизни каждого из нас. Как раз в этих чертах хотел бы я написать о городе» (501)¹. В стихотворении «Гамлет» помимо элементов театральности и евангельского универсализма как будто должны быть и излюбленные в поэзии начала XX века урбанистические мотивы, так как город становится здесь для современного человека «вступлением к жизни», сценой, где актеры исполняют свои роли или каждый из людей выполняет свою миссию.

Игра Гамлета на сцене в стихотворении Пастернака своим широким смысловым резонансом не вызывает в памяти конкретной интерпретации этой роли каким-нибудь знаменитым актером, а связывается с ролью Гамлета, сыгранной в 1898 году Александром Блоком в любительском спектакле в Боблово; Офелией была Любовь Дмитриевна Менделеева. Блок придавал этому спектаклю огромное значение, считал его проникнутым мистическим смыслом: постановка в Боблово вдохновила поэта на несколько стихотворений и послужила темой для «Записок о Гамлете» (1901 г.).

Блоковская интерпретация Гамлета противоположна трактовке Гете, для которого в основе характера шекспировского героя лежит противоречие между слабой волей и сознанием морального долга отомстить за убийство отца. У Блока Гамлет предстает как «гений мысли» и противопоставлен всему придворному окружению, живущему «пошлой и жалкой жизнью» (439)². Офелия тоже порождение этой среды, хотя и не принадлежит к ней целиком. Гамлет одержим одной-единственной мыслью, которая составляет его тайну и которую он развивает в знаменитом монологе. Пользуясь образом из «Записок из подполья» Достоевского, Блок говорит, что сила мысли поставила Гамлета перед «стеною» проблемы «быть или не быть» и он считает себя в состоянии разрешить ее. Разнообразным Гамлетам романтической традиции Блок противопоставляет Гамлета интеллектуального, отражающего драматизм блоковских поисков своей «роли» в жизни, и его интерпретация Гамлета переплетается с трагическим чувством *amor fati*, выразившимся в некоторых дневниковых записях того же периода.

«Мой скепсис — суть моей жизни» (7, 53), — записывает он в 1902 году. Еще одна запись: «Я хочу того, что будет. Все, что случится, того и хочу я. Это ужас, но правда (...) То, чего я хочу, будет, но я не знаю, что это, потому что я не знаю, чего я хочу, да и где мне знать это пока!» (53). Как скажет Борис Эйхенбаум, Блок стал для современников «трагическим актером, играющим самого себя»³.

В «Заметках к переводам шекспировских трагедий» Пастернак тоже отказывается от гетевского толкования Гамлета как трагедии «безволия». «"Гамлет" не драма бесхарактерности, но драма долга и самоотречения, — пишет Пастернак и добавляет: — «Гамлет» — драма высокого жребия, заповеданного подвига, вверенного предназначения» (3, 197), то есть драма избранности и предназна-

ченности человека, который является одновременно жертвой задания, поставленного перед ним высшей силой: это Гамлет-Христос стихотворения «Гамлет», то есть Гамлет не как герой, «виновный» в нерешительности, а как носитель морали высшего порядка по сравнению с моралью своего времени и своей среды. Гамлет Блока более интеллектуализирован: для него шекспировский герой — «гений мысли», для Пастернака же он, можно сказать, гений морали. Но оба поэта создают не только Гамлета в духе проблематики двадцатого века, но и нового русского Гамлета, частично не совпадающего с тургеневским. Поиски и размышления Гамлета перед «стеною» наполняются этическим смыслом, и Пастернак таким образом может наделить Христа чертами Гамлета или Гамлета чертами Христа, проецируя на эту «двойную мифоструктуру» образ Юрия Живаго.

«Но сейчас идет другая драма...»

Напомним еще раз, что Гамлет-Христос стихотворения из «Доктора Живаго» — актер. Это подводит вплотную к «Охранной грамоте», где Пастернак пишет о Маяковском и особом типе поэтической биографии, которая была характерна для символизма и футуризма.

Пастернак останавливается на трагедии под названием «Владимир Маяковский» и комментирует: «Заглавие скрывало гениально простое открытие, что поэт — не автор, но — предмет лирики, от первого лица обращающейся к миру. Заглавие было не именем сочинителя, а фамилией содержания» (2, 273).

Напомним, что в трагедии «Владимир Маяковский» больше, чем в каком-либо другом произведении Маяковского, поэт предстает в образе мученика, страдальца, спасителя, предназначенного на жертву. Здесь, как и во всей образной системе Маяковского, центральным является образ Христа, наделенного одновременно чертами Гамлета и клоуна. Следовательно, по духу это близко к пастернаковскому пониманию поэта, хотя трагедия «Владимир Маяковский» и «Доктор Живаго» ко-

¹ Цитаты из произведения Пастернака приводятся по: Борис Пастернак. Сочинения в 4-х томах, Анн Арбор, 1961. Том и страницы указаны в скобках в тексте.

² Цитаты из Блока взяты из 7-го тома «Собрания сочинений в 8 томах», М-Л, 1960-1963.

³ Б. Эйхенбаум. Сквозь литературу. Л., 1924, с. 217.

лоссально разнятся между собой поэтической личностью авторов и преобразенным ими историческим опытом.

Дореволюционный Маяковский пытается преодолеть анархо-футуристический нигилизм поисками нового великого социально-космического мифа, способного привести, через принесение в жертву поэта, к новой истине, но-

фии» поэт Пастернак приводит раннего Блока и Маяковского и Есенина, которые укрепили эту романтическую тенденцию, преобразив ее в трагическую легенду. Но, считает Пастернак, «вне легенды романтический этот план фальшив. Поэт, положенный в его основание, немислим без непозтов, которые бы его оттеняли, потому что поэт этот не живое,

«живое, поглощенное нравственным познанием лицо». Филистерство, перед которым актер, играющий Гамлета-Христа, совершенно один, — это не мещанство, с которым боролся Маяковский после революции, это — радикальное зло, порожденное исторической катастрофой, зло, которому противостоят нравственные искания и поэтическое свидетельство



вым ценностям, новому человечеству. Революция породит в Маяковском иллюзию, что его героический вызов существующему строю и самому космическому порядку может привести к реальному обновлению. Маяковский тоже долгое время находился перед «стеной» Достоевского, о которой говорил Блок в связи с радикальным гамлетовским вопросом, но в конце, когда все яснее становилось, что спасательный миф оказывается несостоятельным, его выбор пал на то, чтобы не быть.

Совершенно иным был круг идей и ощущений у Пастернака, который, однако, прочувствовал гигантскую катастрофическую силу поэтического опыта Маяковского. В «Охранной грамоте» Пастернак определяет разницу между собой и не одним только Маяковским, но целой тенденцией в поэзии своего времени — когда говорит о биографии поэта. Он вспоминает, что рано отказался от своей «романтической манеры» и уточняет: «Под романтической манерой, которую я отныне возбранял себе, крылось целое мировосприятие. Это было понимание жизни как жизни поэта. Оно перешло к нам от символистов, символистами же было усвоено от романтиков, главным образом немецких» (2, 281).

В качестве примеров такого «зрелищного понимания биогра-

поглощенное нравственным познанием лицо, а зрительно-биографическая эмблема, требующая фона для наглядных очертаний. В отличие от пассионалий, нуждавшихся в небе, чтобы быть услышанными, эта драма нуждается во зле посредственности, чтобы быть увиденной, как всегда нуждается в филистерстве романтизм, с утратой мещанства лишаящийся половины своего содержания» (2, 282).

Думается, что в этих словах «Охранной грамоты» — источник, четко высвечивающий глубины «Доктора Живаго» и стихотворения «Гамлет». Впрочем, и сам «Доктор Живаго» — своего рода вторая «Охранная грамота», которая значительно больше первой открывает путь к подлинности всем тем, кому, как Пастернаку и Юрию Живаго, претит всяческая фальшь.

«Доктор Живаго», проецирующий образ героя на «двойную мифоструктуру» Христа-Гамлета, может быть воспринят как возвращение к «легенде о поэте» на фоне филистерства и мещанства советской эпохи. Но биография Юрия Живаго, предваряющая собрание его стихотворений, это не новый вариант «романтической» жизни поэта: его биография антиромантична, потому что он представляет собой не «зрительно-биографическую эмблему», но

Юрия Живаго, его лирико-этический подвиг.

Жизнь и смерть Живаго, повторенная в универсально-символической сцене актера, играющего Гамлета, представляет собой пассионалию, которая нуждается «в небе, чтобы быть услышанной»,

как нуждается в небе, чтобы быть услышанным, голос Христа-Гамлета перед стеною в Гефсиманском саду. Жизнь Юрия Живаго — не зрелищно-романтическая биография, и сам он не противопоставляет себя миру в непреодолимом эгоцентризме, подобно «метафорическому» герою Маяковского, но объемлет мир высшей органической цельностью «метонимического» пастернаковского героя. Жизнь Юрия Живаго — это житие, жизнь мирского и современного святого, который оказывается один перед лицом филистерства своего времени и не отказывается пройти свой путь до самого неотвратимого конца и оставляет свидетельство своей веры и своего мученичества в вертикали своей лирики.

В отличие от булгаковского Мастера, который, на миг поддавшись филистерству, сжег рукопись романа и был спасен благодаря вмешательству сатанинских сил, Юрий Живаго заслужил не покой, но свет. Свет, в котором он жил, как и его создатель, творчество которого Марина Цветаева в «Световом Ливне» определила как «поэзию вечной мужественности». Для Пастернака «Гамлет» — не драма безволия, а драма воли, драма жертвы и подвига. Именно поэтому ему и удалось ассоциировать с Гамлетом высшую жертву Христа в «двойной мифоструктуре» своего Живаго. ■

Последняя операция профессора Бенды



Дора Штурман

Дора Штурман (Тиктина) — с 1978 года внештатный научный сотрудник Центра по изучению СССР и стран Восточной Европы Еврейского университета в Иерусалиме. Автор многих книг и статей, опубликованных в русской зарубежной печати, часть из них переведена на другие языки.

«Мы столкнулись с миром, который живет по новым неслыханным законам».

«Не знаю ничего, что может больше помешать правильной оценке положения, чем безопасность».

«Глухота — вторичный признак лениости сердца».

Ганс Габе, «Миссия»

В основе романа Ганса Габе «Миссия» (1963 г., русский перевод — 1983 г.)¹ лежат действительные исторические события. Автор изменил лишь фамилию главного героя и некоторые обстоятельства его личной жизни. В июле 1938 года эти события комментировались рядом крупных газет в Нью-Йорке, Лондоне и доживавшей последние свободные месяцы Праге. Журналист Ганс Габе, австрийский еврей, был близким знакомцем профессора Генриха фон Бенды (в жизни — профессора Генриха Ноймана) и автором одной из наиболее полных корреспонденций о его миссии.

«Эвиан не откажет!»

Первыми чувствами, охватившими меня при чтении, были пронзительная тоскливость и страх: герой «Миссии», его обреченные европейские соплеменники конца 1930-х — 1945-го годов, среди которых были и мои близкие; и

мы здесь, в Израиле, с нашими детьми и внуками связались воедино в моем сознании. Тем дали погибнуть. Мы непрерывно отбиваемся, осажденные океаном уничтожительной ненависти на клочке земли, на котором — в картах — не умещается даже название нашей страны. Но, дочитав книгу, я поняла: она выводит читателя за рамки еврейского вопроса. Скованным одной цепью оказывается все человечество.

Профессор Генрих фон Бенда — знаменитый венский хирург, молодой человек, получивший дворянство, несмотря на свое еврейство. Он глубоко ассимилирован в австро-немецкой культуре. Женат вторым и очень счастливым браком (после вдовства) на нееврейке, ровеснице своей дочери от первой жены.

Вегетарианский антисемитизм донацистской Австрии создавал некоторые осложнения для евреев, но не исключал материального благополучия для большинства и удачных, даже блестящих, карьер для людей с выдающимися способностями. Поднявшись достаточно высоко, успешно углубившись в свои занятия, многие переставали чувствовать себя евреями. Точнее — почти переставали. Нередки были случаи перехода в христианство, что, казалось бы, делало ассимиляцию бесповоротной. Бенда не совершил этого шага: его удерживало смутное чувство солидарности со своим народом, временами он ощущал какую-то глубинную, совершенно безобразную связь с Богом своего народа.

¹ "Tarbut Publishers", P.O.B. 8383, Jerusalem 91083. Israel.

Чувство собственного достоинства не позволяло ему переступить через эти связи. Эстетизм, добротная и широкая образованность, изысканный и изощренный интеллектуализм предельно свободного человека, само собой разумеющееся уважение окружающих. И среди всего этого цветения жизни — молниеносный обвал нацистского зверства. Коллеги, пациенты, соседи, часть друзей превращаются в соблюдающих жалкий нейтралитет «запуганных представителей ушедшей в отставку порядочности». Сначала Бенду защищает от действительности неверие здорового ума и нормальной души в надвигающийся кошмар: «профессор верил, что лучшее средство против вульгарности — игнорировать ее». Это роковая aberrация нашего духовного зрения, общая наша ошибка: беспощадная агрессия зла, которое вскоре никому не разрешит себя игнорировать, на начальных стадиях беспечно отождествляется нами с почти безобидной вульгарностью, с невежеством, с пошлостью, с недомыслием. До своего неожиданно ареста Бенда не верил в смертоносную силу чумной бациллы, ибо просто не мог себе представить, что такое вообще может произойти. А ведь «чумная бацилла» нацизма достаточно долго, громко и однозначно о себе заявляла. Общее наше заблуждение: пока возможно, мы не верим в жизнеспособность и победительную мощь зла, обретшего организованность и агрессивную целенаправленность. Большинство людей просто **живет**, не связанное единой целью (как сегодня — демократический мир). А тоталитарное зло (национал-социалистическое или интернационал-социалистическое-коммунистическое) активно и целенаправленно организуется для решения **определенной задачи** — завоевания намеченного им для себя пространства и всего, что в этом пространстве есть. Добро же (употребляю это слово в смысле нормального течения жизни) никогда не организуется иначе, как ответно, и то — далеко не сразу и не всегда. Бенда — нормальный человек, поэтому «неотвратимость приближающейся катастрофы» не укладывалась в его сознании. Он прятался от осознания

этой неотвратимости в работу, еще не отнятую, укрывался от него в своем счастливом доме, в любви Беттины, в безопасности маленького сына. Хотя старшая дочь с двумя детьми уже исчезла.

Арест был страшным крушением органичных для мира Бенды жизненных норм. Он не только показал Бенде и его сокамерникам (тоже евреям достаточно высокого общественного положения), какими драгоценными благами располагает свободный человек и сколь многое можно у него отнять. Арест и заключение в тоталитарном государстве — это беспощадное обращение человека в недочеловека. Бенду не бьют, но заставляют переживать избиение сокамерника, знаменитого венского адвоката, видеть его бессильные слезы. На допросе забивают популярного актера Грюневальда, с которым Бенда в тюрьме успел сдружиться, и швыряют его в камеру — умирать на руках Бенды. Смерть Грюневальда — революция в сознании его сокамерников. Они поняли и почувствовали, что с ними можно безнаказанно сделать все самое страшное и нечеловеческое. Бенда уже не утратит этого понимания и ощущения до конца своих дней. С момента смерти Грюневальда он всегда принимал в расчет неизбежность — в случае невмешательства каких-то спасительных сил — гибели беззащитных людей под сапогами взбесившихся подонков. Но откуда эти подонки взялись? Такая масса! Что же, это всегда спит в человеке или в части людей, а значит и в обществе? И проявляется, когда получает свободу действий? Было бы очень соблазнительно объяснить это только утробным зоологическим или мистическим антисемитизмом, дремлющим в сознании множества неевреев. Но XX век дал нам убийственные примеры «больших терроров», проводящихся и без национальной или расовой избирательности. И всегда находятся для него исполнители. Страшен садист, которого в достаточно многих людях раскрепощает уничтожение цивилизованного права и узурпация всевластия какой-то агрессивной и безморальной силой. Такая сила всегда находит, кого устремить против приговоренных ею слоев, групп и лиц.

Бенду, однако, проводят сквозь кровавый кошмар тюрьмы так, чтобы он оставался физически не затронутым им. Ему демонстрируют его, казалось бы, уже неминуемую участь, но, когда он уже внутренне готов к гибели, его вдруг вышвыривают из тюрьмы и возвращают домой. И при выходе он подписывает обязательство о неразглашении того, что пережил, — единственный компромиссный шаг до конца его дней.

Расовый террор нацизма страшен для обреченной на уничтожение группы своей полной безвыборностью — невозможностью спасительной коллаборации перехода на сторону уничтожающих, невозможностью выбрать измену. Правда, в сталинском «большом терроре» нередко присутствовал тот же элемент отсутствия выбора. Очень часто бесчисленные уничтожаемые сами стояли на стороне уничтожавшего и, тем не менее, истреблялись. Но не было, как у нацистов, четко объявленной **неизбежности** уничтожения.

Вернувшись домой и потеряв работу, Бенда болезненно чувствует эфемерность стен, за которыми укрывается его семья. Его ранит «безразличие цветущей природы»: его любимая сирень во круг виллы не сворачивается и не чернеет от ужаса, а должна бы...

Ученый в Бенде ни на минуту не утрачивает склонности к наблюдениям и анализу. Сквозь изгородь своей виллы он видит марширующих юнцов из Hitlerjugend и думает о том, что «не все люди любят свои цепи, но для большинства свобода была излишней — они прекрасно могут жить без нее». Уровни лишенности свободы, однако, весьма и весьма различны. И тем, кому, в отличие от соплеменников Бенды, разрешили примкнуть к победителям, оставлен достаточный — при их примитивных потребностях и свойствах — жизненный простор. В любом тоталитарном государстве набирается весомый кворум людей, для которых бытийные рамки данного строя достаточны. Ситуации, когда, как в советской деревне начала 1930-х годов, или в Камбодже Пол Пота, или для евреев и цыган при нацизме, гибель грозит почти всем или всем, экстраординарны; но каждый тоталитарный

литарный режим через подобные стадии проходит, иногда по нескольку раз.

...Когда Бенду ночью вызывают к нацистскому наместнику Австрии и тот сообщает ему о конференции тридцати двух стран в Эвиане (Франция), посвященной проблеме беженцев, профессора охватывает радость и надежда, что мир понял ужас происходящего и решил вмешаться. Он плохо слушает наместника, который подводит под нацистский антисемитизм многословную «рационалистическую» концепцию, в его сознание врезается только финал этого монолога: «Когда во время генеральной уборки выясняется, что какой-то товар лишний, его или продают, или уничтожают». Нацисты готовы «поставить за границу» пока что полмиллиона евреев по цене 250 долларов за голову и 1000 долларов за семью из четырех и более человек, а затем еще четыреста тысяч — из Чехословакии. Причем, платить за визу должны не сами евреи, все деньги которых конфискуются, и не частные или общественные организации, а правительства стран, предоставляющих евреям убежище. Бенде поручается доставить в Эвиан это предложение, но не от имени нацистского правительства, а от имени еврейской общины Австрии, якобы узнавшей о такой возможности. Жenu и ребенка с ним, разумеется, не выпускают. Он обязуется вернуться в Вену и этому обязательству не изменит. Условием этой поездки он ставит лишь немедленное освобождение своих сокамерников. Их освобождают. Надолго ли?

По возвращении Бенды от наместника, в разговоре его с женой, впервые возникает прототип того диалога, который прозвучит (иногда без слов, в подтексте реальных разговоров) на Эвианской конференции. Прежде всего, Беттина требует, чтобы Бенда не возвращался из Эвиана в Австрию. Сама она надеется как-то потом с ребенком вырваться. В устах Беттины возникает впервые и тезис, который собеседники Бенды в Эвиане будут затем противопоставлять его конфиденциальной миссии: «Но это же работоторговля!» И второй тезис: «Не верю. Мир не допустит». Как и чем «не допустит»? Тот, кто не хочет,

спасая людей, обреченных на верную и страшную гибель, унижаться до работоторговли (а в Эвиане все будут прятаться за немыслимость этого унижения), должен покарать работоторговца, объединяясь для войны против него со всеми противниками как работоторговли, так и уничтожения безвинных. Если сил, единства, готовности к борьбе нет, следует выкупать обреченных гибели. Денежный вопрос, в конце концов, можно решить, рассматривая выкуп как долг, подлежащий выплате спасенными в какие-то реальные сроки после трудоустройства. В январе 1985 года правительство Тайваня

Тоталитарное зло (национал-социалистическое или интернационал-социалистическое) активно и целенаправленно организуется для решения определенной задачи — завоевания намеченного им для себя пространства и всего, что в этом пространстве есть.

ня уже предложило населению Гонконга, который должен в 1997 году перейти из-под английской юрисдикции в китайскую, убежище и ссуду (до 100.000 американских долларов) на пятнадцать лет («Посев», №1, 1985). Но, как выяснится на конференции в Эвиане, чистоплюйство, не желающее мириться с работоторговлей, — всего-навсего нравственно-самооправдательная уловка. Безнравственность работоторговли получит в качестве своей альтернативы молчаливое попустительство в уничтожении обреченных. Не захотят взять даже срок тысяч человек, которых предлагают на первый случай отдать нацисты, и тем создать прецедент для дальнейших действий. Слова «мир не допустит» катастрофически лишены значения. У «мира» нет единства мнений и намерений, общей готовности и решимости чего-то «не допускать». Более то-

го, нет единости системной реальности за понятием «мир». У тоталитарного «антимира», состоящего из одного государства или из группы соподчиненных одному хозяину государств, такая реальность всегда есть. Этот «антимир» централизован. Его воля сосредоточена при его вершине. Всё в нем пронизано иерархией распределения этой целеустремленной верховной воли. Такая сила может что-то допустить или чего-то не допускать. Наглядный пример тому (вне рамок еврейского вопроса) — СССР, народы стран-сателлитов в их многократных попытках вырваться из-под советского диктата и весь остальной мир, который ни разу не попытался помочь им вырваться, хотя в значительной части своей им сочувствует.

А в данном случае (Эвиан) имеется еще и некая международная солидарность, о которой с великим цинизмом напомнил своим собеседникам английский представитель: «...в программе господина Гитлера есть зерно интернационализма, и это зерно — антисемитизм». Помощь евреям (максимум, по мнению английского посла, тридцати-сорока тысячам и только без выкупа, а многие скажут, что только при наличии у беженцев солидных собственных средств и дефицитных профессий) равнозначна, по его убеждению, «потерянными симпатиям чехов, поляков, венгров» в надвигающейся войне.

Пока же, перед поездкой в Эвиан, Бенда убеждает жену (и себя): «Это унизительное занятие — предлагать людей в качестве товара, но на свободе товар опять превратится в людей!»

Беттина же (австрийка — еврей, молодая — старому) отвечает устало и трезво: «Если они не получают деньги, то станут утверждать: мир не хочет евреев так же, как они сами». Как выяснится позднее, на это в основном операция нацистов и была рассчитана, и расчет оправдался. Но Бенда наивен, как сегодня многие из нас, в своих расчетах на «весь мир», и продолжает твердить: «Именно это я и разъясню за границе. Эвиан не сможет отказать. Эвиан не откажет!».

Леность сердца

Прежде всего окажется, что конференция, состоящая из государственных представителей, не захочет заслушивать представителей самих беженцев (или потенциальных беженцев), относя их к неприемлемой на официальном форуме категории «частных лиц».

Официальные участники конференции словно бы инстинктивно отодвигают от себя живые свидетельства, которые могут вызвать сочувствие, разбередить совесть. У Бенды нет верительных грамот от рейха. Ему предоставлено право говорить только от имени еврейской общины Австрии. Поэтому ему отказывают в официальной аккредитации при конференции. Его принимают неофициально некоторые делегаты и заслушивают в совещательном порядке две частные подкомиссии. Между тем, нацисты торопят Бенду, и их агенты, тайно присутствующие в Эвиане, требуют, чтобы он немедленно запросил первые десять миллионов долларов за первые сорок тысяч евреев, которые иначе в ближайшее время будут отправлены в концлагеря. Что их там ждет — это Бенда уже видел в тюрьме. Его сжигает апокалиптическое предчувствие катастрофы, и, главное, он представляет себе каждую отдельную гибель в ее реальности, как смерть запытанного при нем Грюневальда или своего ребенка. Но он бессилен передать свое знание и свое чувство ужаса участникам конференции. Воздух между ними и Бендой, как только он открывает рот, словно бы становится плотным и вязким, не пропускающим звуки. И говорящий от этого физически задыхается. От мира требуется готовность, не скупясь, ринуться на помощь, швырнуть вымогателям миллионы долларов, отворить ворота множества стран. А вместо этого, уже всё это зная, делегаты обсуждают вопросы о въездных квотах порядка от десятков до нескольких тысяч человек, требуют исправности въездных документов возможных эмигрантов, рассуждают о желательных и нежелательных профессиях, о возможных экономических и расовых осложнениях, о суммах, которые должны обязательно привезти с собой допущенные в их страны бе-

женцы. Единственная реакция на слова Бенды о выкупе — предложение ему самому остаться в свободном мире и в своих выступлениях заклеймить Германию и ее позорное предложение. Жену и ребенка ему обещают какими-то путями спасти. Конференция завершается решением создать в Лондоне постоянно действующий комитет по проблемам беженцев. Бенде остается вернуться в Австрию, привезя нацистам неоспоримое свидетельство свободы их действий по отношению к евреям. И Бенда возвращается, потому что не может не разделить судьбы своих соплеменников. К счастью, он умирает на обратном пути, в поезде, от инфаркта. О судьбе его жены и ребенка в книге не сказано ничего.

* * *

Почему конференция в Эвиане оказалась глухой к единственной возможности попытаться спасти обреченных евреев? Хотя бы первые сорок тысяч, если не всех? Делегаты не только не попытались обсудить вопрос о выкупе между собой и со своими правительствами, но затворили для него свой слух, ведя себя в этом отношении как слепоглухие, глядя сквозь Бенду, слушая и не слыша его.

Ганса Габе (а с ним и Бенду) занимает прежде всего нравственно-психологическая сторона проблемы. Рузвельт в преддверии конференции произнес фразу, давно ставшую ходячим мнением: «Большие числа не способствуют готовности людей помочь ближнему». Отчасти это так, и для участников конференции речь идет о безликих толпах, а у Бенды в глазах — агония изувеченного сокамерника и кроватка сына. Но сегодня, когда на страницах газет всего мира возникают по одиночке голодающие Сахаров или Шаранский и затравленная советской печатью Елена Боннэр, когда пишут о сломанных ребрах Сергея Ходоровича (я могу назвать десятки разноплеменных отдельных имен вместо «больших чисел»), разве свободный мир объявляет неумолимую блокаду Советскому Союзу и начинает стремительно арестовывать его агентов? Нет, неспособностью человеческого со-

знания и сердца почувствовать конкретность массового несчастья не исчерпываются причины равнодушия Эвиана.

Непосильность для некоторых малых стран размера выкупа? Но ведь они даже не обсуждают этот вопрос — они отпираются изо всех сил от необходимости увеличить въездную квоту даже для весьма проблематичных безвыкупных беженцев!

Нежелание претерпеть внутри своих стран некий экономический, расовый, психологический дискомфорт? Это — в решающей степени. И еще — достаточно откровенное нежелание чересчур острой конфронтации «с упорядоченным немецким государством». Как сегодня — с «упорядоченным советским государством» — по вопросам хотя бы Афганистана, Польши и соблюдения Хельсинкских соглашений. Некоторые не хотят ценой спасения евреев обогащать потенциального военного противника. Так, старший сын Бенды, Феликс, приехавший на свидание с отцом в Эвиан из Парижа, считает, что отсрочка войны с Германией вполне «может быть куплена ценой гибели евреев». Об этом он откровенно говорит отцу.

Из-за всего этого Бенда на конференции испытывает растущее с каждым днем отчаяние, как страдательный врач «после операции, обнажившей неизлечимый рак». И этот рак — присущее большинству делегатов чувство, которое Ганс Габе (Бенда) называет «леностью сердца».

Нацисты яснее ясного писали о своих намерениях. Так, сегодня — ООП в «Палестинской хартии» пишет о предстоящей элиминации, то есть истребительном уничтожении, Израиля в ходе создания очередного — среди десятков — арабского государства. Но «леность сердца» побуждает людей не слышать этого и подсказывает довод, усыпляющий тревогу совести: «Намерение совершить зло не всегда означает, что зло будет совершено». «Не всегда» (вместо «никогда») уже само собой обозначает **вероятность** совершения зла, но эта вероятность игнорируется ради сохранения душевного комфорта, ради избавления себя от необходимости действовать.

Напрасно Бенда твердит о том, как громко «дьявол говорит сегодня о своих намерениях». Напрасно он спрашивает у тех немногих, кто соглашается с ним разговаривать: «Разве они не поймут «нет» мира как «да» своим злодеяниям»? Все эти разговоры восстановлены Гансом Габе по его тогдашним записям со слов исторического прототипа профессора Бенды.

Один из самых симпатичных участников конференции возражает Бенде: «Мы многого требуем от делегатов. Мы требуем, чтобы они представляли себе намерения убийцы и — одновременно — страдания будущих жертв... Один найдет одну отговорку, другой — другую, но всем не хватает воображения. ...Человечность от бесчеловечности отделяет лишь узкая тропинка — способность к воображению... Может быть, детей в школах ...надо учить умению поставить себя на место другого, вообразить себе будущее...»

Вообразить — этого мало: садист наслаждается воображением чужих страданий. Для торжества человечности необходимо вообразить и ощутить чужие страдания как свои собственные, не будучи при этом извращенным мазохистом, которого и свои страдания не ужасают. Разве это не то же «Возлюби ближнего своего как самого себя»? И притом в сочетании с метанойей — с поворотом всех людей к свету? Ганс Габе зовет каждого на непрерывно длящемся мировом Эвиане стать на место страдающих и ощутить их судьбу (страшную, безнадежную, смертную) как свою — вот что надо уметь повсечасно воображать. Люди же, как правило, изобретательно (не успев зачастую этого осознать) отталкивают от себя картины и сообщения, способные разбудить в них такое воображение.

Ганс Габе не ставит вопросов о том, к чему и как реально могли склонить свои правительства участники конференции. В коротком послесловии он говорит о гибели Бенды: «...моей целью было показать превышающий человеческие силы душевный конфликт пленника истории». И заключает: «Книга ставит вопрос, может ли человек, чье сердце слишком лениво, чтобы пытаться остановить

колесо рока, быть обвинен в соучастии. На этот вопрос я отвечаю утвердительно». Таким образом, он занят чисто моральными аспектами своего исторического сюжета.

Мы же попытаемся в своих размышлениях выйти за пределы Эвианской конференции и обсуждения нравственности ее участников, так как, независимо от замысла Ганса Габе, книга выводит нас за эти пределы.

За пределами книги

Я не знаю, допустимо ли, спасая обреченных на гибель, обогащать своего потенциального врага. Но, наверное, когда возникает альтернатива «кошелек или жизнь», отдают кошелек, не думая о том, что купит на наши деньги бандит. Может быть, весь фокус в том, что кошелек был свой, а жизнь — чужая? Во всяком случае, этим вопросом следовало тяжело терзаться, а им никто всерьез не терзался в Эвиане, кроме Бенды и, может, одного-двух делегатов. И это страшно.

Мог ли мир, точнее, тридцать два государства, приславшие в Эвиан своих представителей (СССР не прислал, хотя это было еще до его пакта с нацистами), вместить сперва сорок, затем четырехста, а затем примерно еще пятьсот тысяч евреев, которых якобы (кто поручился бы за искренность их предложения?) готовы были продать нацисты? О миллионах речи еще не шло: оккупация большей части Европы была впереди.

История знает множество примеров того, что теперь принято называть иммиграцией и абсорбцией беженцев. Приведу лишь некоторые.

В XIII веке изгнанных из Англии и Франции евреев принимала Кастилия. В XV веке евреев принимали Польша, Литва, Московия. Турецкий султан Сулейман Великолепный, принимая испанских евреев, сказал: «Изгоняя их, испанский король ослабляет свое государство и усиливает мое». Таких примеров немало. Правда, тогда за иммигрантов никто не требовал выкупа, а порой впускали только имущих. Но евреям процветающих общин не запрещали

лось наделять иммигрантов необходимыми средствами. И они это делали.

В конце XVII века Пруссия без всяких условий приняла французских гугенотов, изгнанных Нантским эдиктом Людовика XIV.

Турция с ее громоздким и малоэффективным бюрократическим аппаратом в конце XVIII века приняла массу крымских татар (да и запорожских казаков-«некрасовцев»); в середине XIX века — кавказских мусульман, в конце XIX и середине XX веков — турок из Болгарии. А сколько самых различных эмиграций приняли с XVII по XIX век страны Нового Света?! Правда, и за них всех никто не требовал выкупа. Но ведь дипломаты в Эвиане и вне разговора о выкупе отказывались увеличить въездные квоты для немецких и австрийских евреев. И вопрос о выкупе официально не обсуждали!

Вскоре после I мировой войны Франция, Германия, Югославия и другие страны разоренной Европы приняли более двух миллионов «белых» эмигрантов — первую эмиграцию из завоеванной большевиками России.

После II мировой войны еще не оправившаяся от нее Западная Германия приняла изгнанных немцев из Чехословакии и других стран Восточной Европы, а затем, уже постепенно, — около двух миллионов немцев из ГДР (зачастую платя за них выкуп), Польши и СССР. И продолжает их принимать и добивается от этих стран разрешения на их эмиграцию.

Франция в конце 1950-х годов приняла около миллиона французских подданных из Алжира и других бывших своих колоний. В 1970-х годах Франция же приютила в Гвиане остатки народа мэн (хьонгов), почти полностью истребленного вьетнамской коммунистической армией с помощью газом и напалмом.

В Израиле в момент образования государства было около 600.000 евреев — сейчас их более трех миллионов. Большинство из них прибыло в страну за последние 36 лет. Тогда, в 1938 году, Палестина с помощью демократий мира могла бы принять и абсорбировать ВСЕХ предложенных

Эвиану евреев, если бы не беспощадность Англии, не ее категорическая решимость не раздражать арабов. Один из видных сионистских деятелей того времени Берл Кацнельсон пророчески утверждал, что даже очень резкое и быстрое увеличение еврейского населения в Палестине приведет не к снижению, а к общему повышению жизненного уровня в стране. Тогда еще не было государства Израиль, но было то, что в декларации Бальфура называлось «еврейским

Трудности, которые возникли бы в Палестине в случае массовой иммиграции туда евреев, не шли ни в какое сравнение с той судьбой, которая их постигла в Европе. Но для их спасения нужны были добрая воля и деньги. Правда, не исключен и другой вариант событий. В дни Эвианской конференции представитель Ватикана в конфиденциальном разговоре с Бендой сообщил ему, что, по весьма надежным сведениям, имеющимся у Ватикана, Германия на

Нацисты запросили сравнительно небольшую цену — один грузовик за сто человек. Союзники решительно отказались от этой сделки, и сотни тысяч евреев погибли. А ведь можно было поставить грузовики со скрытыми дефектами — так, что они недолго (и очень плохо) прослужили бы. В это время существовали и другие возможности давления на терпевших поражение нацистов, но они тоже не были использованы. Евреев просто не хотели брать.



национальным очагом». И можно было попытаться открыть для обреченных двери к этому очагу. Вместо этого наполненные чудом попавшими на них европейскими евреями корабли не принимались английскими властями в Хайфском порту, равно как и никакими другими странами, не оккупированными нацистами. Они либо вынуждены были вернуться обратно, на верную гибель, как «Сен Луи» в 1939 году, либо были потоплены, как «Струма» в 1942 году. Англия до конца своего мандата в Палестине так и не проявила милосердия ни к обреченным (до 1945 года), ни к уцелевшим (после).

деле не собирается торговать евреями, а намерена их уничтожить. Предложение выпустить их за выкуп — это провокация, долженствующая доказать, что евреи так же не нужны всему остальному миру, как и Германии. Это сообщение ужаснуло Бенду и ускорило его смерть. Но делегаты о нем не знали, и нравственный суд, которому подвергает их Ганс Габе, не учитывает этого обстоятельства. Во всяком случае, предложение нацистов не было проверено попыткой выкупить хотя бы первых сорок тысяч.

В конце II мировой войны вторично возник вопрос о выкупе евреев, на этот раз — венгерских.

Уничтожение нацистами европейских евреев поражает (тех, кого оно по сей день продолжает ужасать) своей беспощадностью, своими масштабами, своей индустриализованной неотвратимостью.

Но вероломство, беспощадность и безразличие были проявлены и проявляются в мире не только по отношению к евреям и к цыганам (судьба последних в печати почти не обсуждалась и не обсуждается).

Мерзкая акция Министерства внутренних дел Чехословакии, сразу же после нацистской оккупации Австрии закрывшего границы страны для искавших убежища

австрийских евреев, не спасла Чехословакию ни от Мюнхенского предательства, ни от нацистской оккупации, ни от коммунистического переворота в 1948 году, ни от советских танков в 1968 году.

В те же самые дни, когда перед миром открылись преступления нацистов, за бывшими советскими и югославскими гражданами, спасавшимися на занятых армиями западных союзников территориях Европы, шла такая же охота, как при нацистах, — за евреями и цыганами. Охоту вели власти и войска западных демократий вкупе с советским СМЕРШем. Более двух миллионов беженцев, в том числе женщин, стариков и детей, были, в соответствии с секретными пунктами ялтинских соглашений, втайне от западной общественности и прессы, насильно выданы на расправу тоталитарным коммунистическим режимам Сталина и Тито. Многие из них были убиты и искалечены военными демократических стран, потому что отчаянно сопротивлялись выдаче; многие кончали самоубийством... Когда потом пытались оправдать эту «операцию килевания», то утверждали, что выдавали коллаборационистов и соучастников нацистских преступлений. Но ведь в отношении этих перемещенных лиц не было проведено хотя бы подобия следственной и судебной процедуры, предусмотренной законодательствами демократических стран-победительниц.

Когда же, наконец, через три десятилетия эта «последняя тайна» (Н.Бетелл) была раскрыта и жертвам Ялты поставили в Англии памятник, средства массовой информации свободного мира начали сообщать о новой трагедии. Из коммунистического Вьетнама устремились тысячи «лодочных людей», а корабли благополучных стран, вопреки всем международным конвенциям по судоходству, проходили, не отвечая на сигналы бедствия, мимо еле держащихся на плаву и тонущих суденышек, набитых беженцами из девятого (азиатского) круга тоталитарного ада...

Который год организации, занятые судьбой советских военнопленных в Афганистане, добива-

ются убежища для единиц, в то время как просят его у демократических стран двести человек, поощаженных (пока что) афганцами («Посев», 1984, №12). Разве это не тот же Эвиан — пусть не по масштабам, но по существу?

21 июля 1984 года в статье «Двойная мера» («Новое Русское Слово») Игорь Мяковский привел страшный, хотя и неполный мартиролог жертв длящихся пятое десятилетие эвианов, мюнхенов и ялт. Приведу лишь часть этого мартиролога, не дополняя его своими имеющимися в запасе примерами:

«Пора, кстати, подбирать место для памятников кубинским «контрас», брошенным в решающий момент Джоном Кеннеди, а заодно вьетнамцам, камбоджийцам и лаотьянам, отданным любителями разрядки на съедение людоедам Пол Пота и Хо Ши Мина, иранцам, отданным Джимми Картером в руки Хомейни, и так далее, и так далее... Нет, это не «дела давно минувших дней». Уже в этом году, отказано в помощи сражающемуся против коммунизма — то есть, за всех нас — лидеру ангольских партизан Савимби, на очереди никарагуанцы, которые в этом случае будут преданы уже второй раз, сальвадорцы, гонконгцы... Вдумайтесь, читатель, — только один из трех поляков, обращающийся к США с просьбой о политическом убежище, его получает, свободолюбивая Франция выдает Чаушеску румын-невозвращенцев, а не менее свободолюбивая Ирландия не так давно выдала советскому правительству попросившего у нее убежища пассажира самолета «Аэрофлота» Валерия Агапова».

* * *

И все-таки, все-таки... Однозначен ли и легко ли разрешим вопрос о беженцах и об активном вмешательстве одних государств в политику и внутренние дела других государств?

Всех, кого можно спасти и принять, следует спасать и принимать.

Но не так давно один высокопоставленный американский деятель

спросил нынешнего китайского лидера Ден Сяопина, будет ли разрешен китайским гражданам свободный выезд из их страны. «Сколько миллионов китайцев вы готовы принять: десять, двадцать, тридцать?» — ответил Ден Сяопин вопросом на вопрос. Американец сник.

В США не очень жалуют латиноамериканских иммигрантов, но приняли и принимают их немало. Какова, однако, будет позиция США, ежели, в случае победы коммунистов в Центральной и Южной Америке, оттуда ринутся миллионы и миллионы беженцев без всякого имущества?

Примет ли Англия бегущий Гонконг, если начнется исход из него в связи с перспективой передачи коммунистическому Китаю?

Сравнительно благополучные (полного благополучия нет нигде) и свободные страны не смогли бы жизнеустроить всех вероятных беженцев, если бы «черные дыры» тоталитарных диктатур и терпящие бедствие постколониальные страны открыли для своих подданных врата исхода и он стал бы массовым.

Расползание красного (черного) цвета по планете увеличивает эту потенциальную невозможность. Формальная логика подсказывает вывод, что это расползание следует остановить для начала в его нынешних границах. Но житейский, политический, исторический аспекты логики не создали эффективного, общего для всех демократических стран аппарата и механизма удержания тоталитарного космоса в его границах. Не говорю уже о реставрации или установлении нормального образа жизни там, где, выражаясь словами Ганса Габе, порядочность и право «ушли в отставку».

Казалось бы, само собой разумеется, что демократические страны не могут непрерывно воевать за установление хотя бы относительного благополучия во всем мире. Но не менее самоочевидно, что война все равно велется. И велется только одной стороной — наступающей. А те, кого в конечном счете наступающие хотят себе подчинить, не предпринимают против атакующей стороны

даже экономических и пропагандистских мер блокады и самозащиты. И не помогают по-настоящему немногим силам, активно сопротивляющимся этому непрерывному натиску. В №11 «Обозрения» за 1984 год об этом было сказано в статье «Демократии против демократии» — в красноречивой главе из книги Ж.Ф.Ревеля «Как гибнут демократии».

Ни Европе, ни США не удалось откупиться от войны с дьяволом посредством умывания рук при казни евреев и других уступок Гитлеру. Хуже того, оттяжка войны лишь увеличила ее масштабы.

* * *

Вот как далеко завели нас мысли о трагической миссии Генриха фон Бенды на Эвианской конференции 1938 года.

Сила, которая на этот раз ведет многостороннее наступление на весь мир и в конечном счете — на демократии, переняла у Гитлера и энергично использует «интернациональное зерно» нацизма — предубеждение своих народов и, по возможности, остального мира против евреев. Этому служит кощунственное отождествление сионизма с нацизмом. Ради этого отождествления искаженно интерпретируются не только почти сорокалетние отчаянные усилия Израиля сохранить свое независимое существование в сравнительно безопасных границах, но и события времен нацизма. В середине октября 1984 года 10-я страница «Литературной газеты» вышла под вопиющим заголовком: «Сионизм — нацизм: злоеющее рукопожатие». В начале подборки сообщалось:

«12 октября в пресс-центре МИД СССР состоялась пресс-конференция Антисионистского комитета советской общественности.

Она была посвящена разоблачению преступного сотрудничества сионистов с нацистами, методы которых используют и нынешние правители Израиля. На пресс-конференции отмечалось, что обращение к страницам истории, разоблачение преступного альянса сионизма с фашизмом и их духовного родства является насущной и

актуальной задачей прогрессивных сил мира...»

На этой пресс-конференции евреи — члены современного советского «юденрата» (которым, в отличие от их предшественников гитлеровских и сталинских времен, еще ни газовая камера, ни вечная мерзлота непосредственно не угрожают) задёшево торговали кровавыми наветами против своего народа.

В преддверии чего ведется на этот раз в СССР такая торговля, почему льются реки статей и речей о нацистской природе сионизма, я судить не берусь. Хотят ли кремлевские правители всего-навсего переключить недовольство своих народов с себя на евреев, или готовят какую-то уничтожительную акцию, или пытаются поднять цену, готовясь запросить за них выкуп в той либо другой форме, не знаю. Замечу только, что фразеология ряда выступлений на этой конференции совпадает с фразеологией нацистов, хотя говорят преимущественно евреи. Эта пресс-конференция и печатные выступления типа статей Льва Корнеева убеждают: жизнеспособный Израиль нужен не только нам, его гражданам. Нужно, чтобы очередным «Сен Луи» и «Струмам» отнюдь не исключенного будущего было куда пристать. Ведь спасает же сегодня Израиль, несмотря на свои кризисные внутренние и внешние обстоятельства, эфиопских евреев.

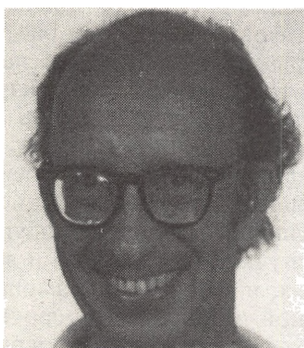
При желании миссию Бенды (и ему говорили об этом) тоже можно было бы представить как сотрудничество с нацистами в торговле евреями. Бенду это не остановило. Еврейские организации, в том числе и сионистские, долго и мучительно пытались спасти евреев Европы, вступая в переговоры с гитлеровцами. Были некоторые сомнения и у нацистов — примирится ли мир с уничтожением евреев? Какое-то время эти сомнения порождали тенденцию выдворить нежелательный контингент, в том числе и с помощью еврейских организаций, за пределы рейха. Исход конференции в Эвиане стал для нацистов одним из свидетельств того, что с «окончательным решением еврейского вопроса» можно не церемониться.

Сроки его вскоре начали лимитироваться лишь пропускными возможностями фабрик смерти. Тогда и контакты с сионистами стали излишними.

Современный советский «юденрат» (Антисионистский комитет советской общественности) со злоеющим, кощунственным лицемерием говорит о своих предшественниках в созданных нацистами гетто как о благоденствующих соучастниках уничтожения евреев гитлеровцами. В действительности же это было арестантское псевдосамоуправление, отличавшееся от такового в лагерях обычного типа (не в лагерях смерти) тем, что в гетто его представители были в конечном счете обречены, как и все остальные, тем же газовым камерам и расстрельным рвам. Израильскими историками этот вопрос хорошо изучен. Деятельность юденратов оставила примеры широчайшей вариативности поведения их членов. В ней нашлось место и убийственному для соплеменников шкурничеству, и участию в облавах и депортациях, и героической самопожертвенной борьбе за отсрочку гибели хотя некоторых из окружающих, и трагическим попыткам создания какого-то жалкого, временного подобия нормальной жизни в гетто, и участию в сопротивлении и восстаниях. То же можно сказать о любом квазисамоуправлении, создававшемся нацистской властью на оккупированных территориях из их аборигенов. Только при этом ни над кем, кроме евреев и цыган, не висела угроза тотального безысходного уничтожения. Поэтому «сотрудничество» представителей обоих этих народов с нацистами было безнадежным для тех, кто его искал.

Фактически Бенда, выступавший в кулуарах конференции как представитель еврейской общины Австрии, таковым не был, потому что этой общины как нормального, пользующегося определенными юридическими правами общества уже не существовало. Бенда действовал под угрозой пистолета, приставленного к затылку каждого члена обреченной общины. Не его вина, что Эвианская конференция не увидела этих пистолетов. Или, увидев, не испугалась их, что одно и то же... ■

Цензура как образ жизни



Сидней Монас

Сидней Монас — профессор русского языка, литературы и истории университета Техас в Остине (США).

Автор ряда книг по истории России и русской интеллигенции.

Среди них: *The Third Section: Police and Society in Russia under Nicolas the First («Третье отделение: полиция и общество в России во времена Николая Первого»), 1961.*

Будучи отдаленным потомком Гераклита, я твердо верю в то, что нельзя дважды вступить в одну и ту же реку, что все течет, все изменяется, что «живущий несравним» и нет двух исторических ситуаций, которые были бы совершенно одинаковыми. Тем не менее, следует признать, что «та же самая» река имеет все-таки какие-то определенные, только ей присущие свойства, более того — все реки вообще имеют тенденцию во многом походить одна на другую, и что исторические аналогии, не будучи совершенно идентичными, все же могут быть поучительными.

Возьмем в качестве примера цензуру. Если нам нужна «константа», постоянная (по крайней мере, в относительном смысле), то история России нам ее предоставляет. Ни в одной стране институт цензуры не имел столь длительной, непрерывной, жесткой и репрессивной истории, как здесь. Конечно, за прошедшие три столетия были свои подъемы и спады, более или менее суровые периоды, даже в течение очень недолгого промежутка времени (1907-1914, февраль-октябрь 1917 года) государственной цензуры вообще почти не было. И, разумеется, огромна разница между установками и практикой цензуры старого режима (до 1917 года), инертной, пассивной, охранительной, часто попросту глупой, еще чаще — безучастной, подвергавшейся постоянной осаде со стороны возмущенной и воинствующей

либеральной общественности, и той четко разработанной системой жесткого контроля за мыслью, ритуальных изъятий и допущений, системой широкомаштабной, многослойной, всепроникающей, которая характерна для советской цензуры, где цензуре подвергается даже самое существование оной, обслуживаемой на самом ее элементарном и, по-видимому, наименее важном уровне (Главлит) персоналом в 70 тысяч человек (то есть цензуре подвергается работа этого учреждения в качестве цензуры: публичные высказывания о его деятельности запрещены).

Цензура цензуре рознь

В 1866 году в новом суде присяжных, при новых законах о цензуре (основные столпы великих реформ Александра II) рассматривался первый случай, связанный с цензурой, — речь идет о А.С.Суворине и его повести «Всякие». Предварительная цензура художественной литературы была отменена законом 1865 года, и повесть Суворина уже была напечатана, хотя еще не поступила в продажу. В то время Суворин, которому впоследствии суждено было стать знаменитым издателем и редактором, важной фигурой в литературных кругах (он был, например, близким другом Чехова) и который с годами станет на консервативно-националистические позиции, был молодым либеральным журналистом, популярным фельетонистом. В основе

его повести-фельетона лежит излюбленная тема 60-х годов — «нигилистическое» поколение, его нравы, образ жизни и идеологические воззрения. С этой точки зрения повесть встает в один ряд с такими произведениями различных литературных достоинств, как «Отцы и дети» Тургенева и «Что делать?» Чернышевского. Однако, кроме этого чисто историко-литературного подхода, повесть не представляет особого интереса. Прототипом главного персонажа, описанного с изрядной долей симпатии, послужил Чернышевский. Если учесть, что к тому времени Чернышевский был сравнительно недавно выслан в Сибирь после двухлетнего заключения в Алексеевском равелине в качестве «политического преступника», то вряд ли можно было предполагать, что книга привлечет к себе внимание властей — не говоря уж о судебном преследовании, когда бы не более свежее и достаточно драматическое событие — покушение Каракозова на Александра II, положившее начало революционному терроризму в России.

Обвинение указывало на ряд пассажей книги, где выражались идеи, определяемые цензурными правилами как бунтарские. Эти отрывки зачитывались вслух в суде для произведения наибольшего эффекта на публику, которая все еще находилась под впечатлением попытки убить царя-освободителя. Аргументы защиты были более изощренными, но гораздо менее драматичными: защита доказывала, что «Всякие» — это, в конце концов, не политический трактат, но повесть, произведение искусства, что в повести персонажи часто выражают взгляды, которые характеризуют их позицию, а вовсе не обязательно позицию автора, что авторская точка зрения вытекает лишь из всего произведения в целом и ее нельзя сводить к воззрениям отдельных персонажей или привязывать к выхваченным из текста отрывкам.

Стоит отметить, что все эти аргументы — и обвинения, и защиты — по крайней мере с точки зрения логики, почти полностью аналогичны тем, что были использованы в куда более серьезном цензурном казусе, имевшем место столет спустя. Я имею в виду суд над

Андреем Синявским и Юлием Даниэлем, хорошо известный западному читателю благодаря стенограмме Александра Гинзбурга, переведенной на английский Максом Хейвордом. Конечно, имелись и различия, о которых следует упомянуть.

Зал суда, где проходил процесс Синявского и Даниэля, был набит враждебной толпой; тех же, кто был связан с обвиняемыми дружескими или приятельскими отношениями, туда не пустили. Даниэль и особенно Синявский вели свою защиту с красноречием литераторов, которое вряд ли было доступно для обычных юристов, участвовавших в защите Суворина. Обвинение же, напротив, было

Исторические аналогии, не будучи совершенно идентичными, все же могут быть поучительными.

подготовлено с особой ядовитой энергией и выставило ряд враждебно настроенных свидетелей систематического обмана. Следует также добавить, что в основе «действительного» обвинения лежало не столько идеологическое содержание произведений подсудимых, сколько то обстоятельство, что они посылали их для публикации за границу. Поскольку в то время «законность» была довольно модной проблемой, а закона, запрещающего отправку рукописей за границу, не существовало, обвинение с особым усердием старалось объяснить факт издания этих произведений их якобы «антисоветским» характером, их нарушением знаменитой статьи 58. А самое, наверное, разительное несходство заключается в том, что, хотя в обоих случаях обвиняемые были признаны виновными, Даниэль и Синявский были осуждены на 5 и 7 лет лагерей, а Суворин — на три недели ареста на гауптвахте!

Конечно, все эти различия поразительно сходство аргументов. Оно обнаруживает некую постоянную проблему в действиях цензуры, проблему, обусловленную природой произведения словесного искусства. Конечно, цитата, вы-

рванная из контекста, всегда подвержена искажению. Но, в случае с произведением искусства, эффект, идеологический импульс целого может, с точки зрения законности, радикальнейшим образом отличаться от простой суммы его составных частей. Цензоры могут, в силу своих служебных обязанностей, возмущаться этой идеологической размытостью, свойственной искусству, но как достаточно умные читатели — а многие цензоры таковыми являются, даже в Советском Союзе, — они на каком-то уровне вынуждены признать это явление. Так что жизни цензора не позавидуешь.

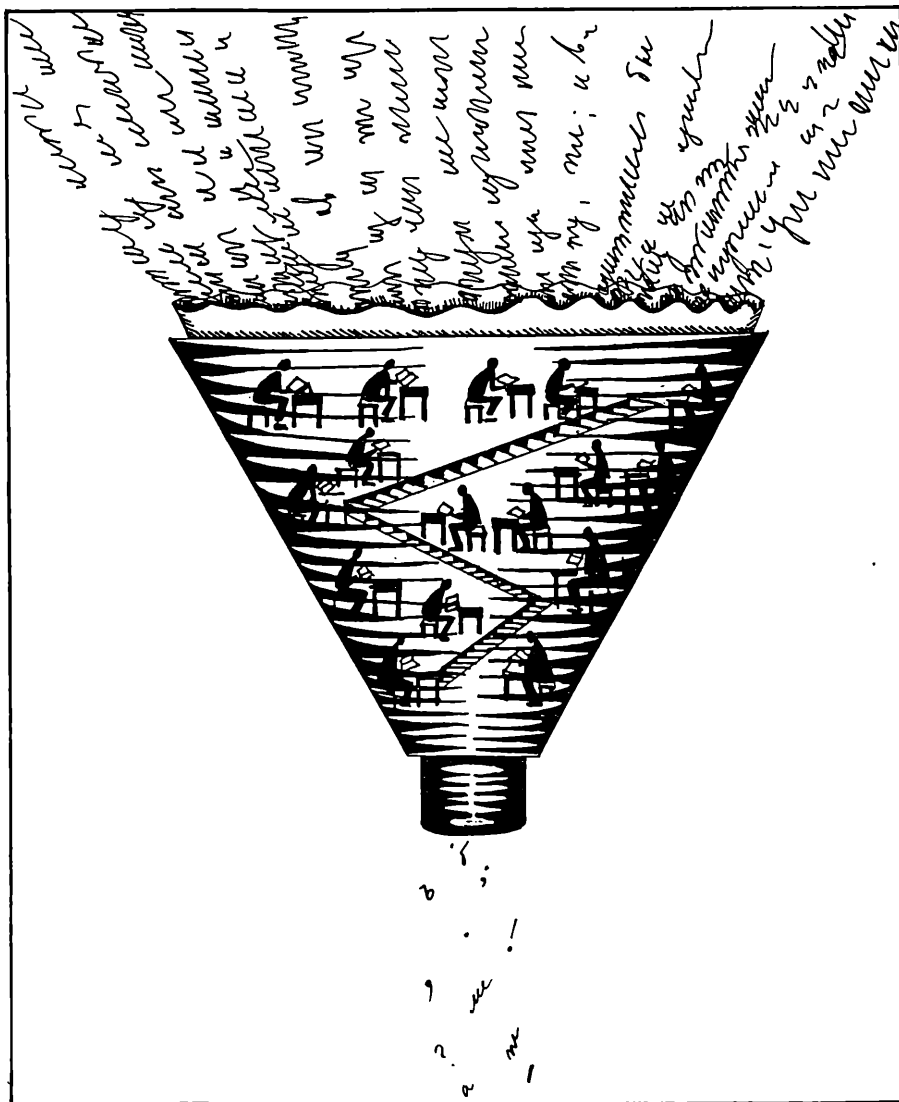
«Самиздат» и «тамиздат» XIX века

Позволю себе провести более широкую и важную, хотя и менее точную, аналогию. В 1853 году Герцен основал в Лондоне Вольную русскую типографию. В годы Крымской войны его издания проникали в Россию с большими трудностями, а круг читателей был весьма ограничен. Позицию Герцена в отношении войны вряд ли можно назвать патриотической, и все же в его публицистической деятельности сохранилось известное чувство национального достоинства, которому не грех было бы поучиться, например, Милюкову во время его американского путешествия в годы русско-японской войны. Когда английские войска расстреляли в Керчи беззащитный русский гарнизон и английская пресса ни словом не обмолвилась по этому поводу, Герцен использовал все свои связи с английским и европейским радикальным движением, чтобы довести это событие до сведения общественности. Вряд ли здесь имелся какой-либо политический расчет с его стороны, но этот поступок сослужил ему хорошую службу позже, после войны, когда русские различных политических убеждений стекались к нему в Лондон, многие с материалами для публикаций, и Вольная русская типография стала важнейшим фактором политической жизни России.

Еще до отъезда в Европу Герцен был досконально знаком с сетью «самиздата» того периода, он

прекрасно знал атмосферу и суть кружков интеллигенции в Санкт-Петербурге и Москве, Грановского и славянофилов. У него был даже свой собственный кружок. Одновременно с замыслом Вольной русской типографии зародилась идея «тамиздата» — издания «самиздата» за рубежом. Сразу после войны он связался со старыми друзьями и начал активно собирать материалы. В названии альманаха «Полярная звезда» было воскрешено название журнала Рылеева, на обложке появился силуэт пяти повешенных декабристов, в альманахе печатались запрещенные произведения участников восстания. Первые номера альманаха читались как антология русской интеллектуальной истории: здесь были впервые напечатаны первое философическое письмо Чаадаева, ранние либертианские стихи Пушкина, стихотворение Лермонтова «На смерть поэта», письмо Белинского Гоголю и многие другие работы, циркулировавшие в «самиздате». Девиз альманаха, цитата из Пушкина, гласил: «Да здравствует разум!» Здесь отсутствовал узкий сектантский подход, дорогу на страницы журнала могло найти всё, что дышало свободой и умом. Главной своей целью альманах провозглашал отмену крепостного права в России и, в неразрывной связи с этим, отмену цензуры. Герцен был первым русским писателем, четко заявившим о связи между крепостным правом и цензурой и выступившим в печати за их отмену.

Сеть европейских книготорговцев, особенно Н.Трюбнер из Лондона, колоссально расширила распространение герценовских изданий. Так как они приносили небывалый доход (в России они продавались по 20-30 серебряных рублей за том), петербургские и московские книготорговцы были готовы подкупать таможенников и цензоров, чтобы получать эти издания. Рынок работал «на» Герцена. Многие экземпляры прибывали в Петербург вместе с изделиями парижских галантерейщиков и портных. Во время Мирного конгресса в Париже летом 1856 года сюда прибыли сотни русских, и Герцен дал объявление о своих изданиях в парижские газеты, хотя ему самому приезд в Париж был запрещен указом Наполеона III.



Этим же летом русские приезжали к нему в Лондон, в том числе даже сын генерала Орлова, бывшего главы Третьего отделения. Этот поток гостей до 1861 года являлся важным источником распространения изданий и получения информации и материала. «Колокол», который Герцен начал издавать со своим другом Огаревым летом 1857 года, за три года достиг более или менее регулярного распространения тиражом в 2.500 экземпляров, в то время как самый популярный «подцензурный» журнал в России имел тираж всего лишь около 5 тыс. экземпляров.

Влияние «Колокола» было огромно — на правительство, на работу цензуры и законодательство, на русскую прессу и книгоиздание, на воспитание читательской публики, ее вкусов и привычек. Но в то же время это влияние следует понимать во взаимодейст-

вии с общей ситуацией коренных изменений и волнений, ситуации, которую «Колокол» не создал сам по себе, но существенной частью которой он был. Герцен сам писал о времени, когда газета начала выходить: «В 1855 и 1857 годах перед нами была просыпавшаяся Россия... Новое время сказалося во всем — в правительстве, в литературе, в обществе, в народе... Немая страна приучалась к слову, страна канцелярской тайны — к гласности, страна крепостного права — роптать на ошейник».

В 1857-61 гг. цензура запрещала появление имени Герцена в печати, а в течение последующих десятилетий его имя могло упоминаться только в негативном или политически нейтральном контексте. Иностранная цензура, таможни, подчинявшиеся министерству финансов, министру внутренних дел и министру почт, издава-

ли строгие распоряжения задерживать все издания Герцена, и те, кто провозил его публикации, подвергались риску, ставили себя под угрозу ареста или и того хуже. И все же, несмотря на все это, представляется вполне вероятным, что в правительстве не было единого мнения насчет Герцена. Никто не мог поддерживать его открыто и солидаризоваться с его политикой: он был революционером. Тем не менее, некоторые — и среди них, несомненно, великий князь Константин Николаевич и, может, даже сам Александр II, — считали его в какой-то степени полезным, полезным не только в качестве разоблачителя бюрократической секретности и круговой поруки, но скорее даже рассматривая его как фактор влияния, давления на нерешительное дворянство в вопросе освобождения крестьян и сопутствующих реформ.

Однако, как только правительственная политика в отношении освобождения крестьян определилась и редакционная комиссия закончила работу (к октябрю 1860 года), Герцен явно стал представлять собой опасность для любого «компромисса» с дворянством и угрозу классовой войны. Борьба против его изданий стала более серьезной и постоянной задачей. В 1860-62 гг. русское правительство объявило войну Вольной русской типографии и использовало все средства, находившиеся в его распоряжении, чтобы подавить влияние Герцена. Правительственные репрессии, возрождение национальных чувств на волне польского восстания 1863 года и открытая критика Герценом условий освобождения крестьян —

все это заставило его прежних сторонников-либералов — например, Тургенева, Кавелина, его старых друзей Корша и Кетчера, славянофилов, — отойти от него. Во всяком случае, платное распространение его брошюр и периодических изданий резко снизилось.

Влияние Герцена ни в коей мере не иссякло, хотя теперь оно осуществлялось по другим каналам. Его издания теперь достигали России с большими трудностями, и не столько через Петербург, сколько через Одессу, продавались они значительно хуже, но были по-прежнему популярны среди бедных учителей-радикалов и других, кто на свои скудные средства покупал и, рискуя собственным благополучием, переписывал их либо распространял с помощью гектографа. Мемуарная литература и отчеты о политических процессах 60-х годов свидетельствуют о том, что Герцен и после 1863 года продолжал свою жизнь в России. Писарев и Чернышевский, ведущие журналисты «Русского слова» и «Современника», пошли из-за него в тюрьму. Хотя Чернышевский и Герцен недолюбливали друг друга (Герцен считал Чернышевского грубым, узким, неотесанным, а Чернышевский называл Герцена хлипким либералом, «Кавелиным в квадрате»), влияние Герцена на радикальную часть «подцензурной» прессы продолжалось в значительной степени благодаря Чернышевскому. И, хотя революционное движение, начавшееся в 60-е годы, повернуло в сторону насилия (что Герцен время от времени осуждал), тем не менее, печать его влияния, независимо от результатов, на этом

движении была. И даже так называемая «правительственная» пресса — газеты и журналы, поддерживавшие Александра II как самодержца и пронизанные явным националистическим, даже шовинистическим духом, а также те, кто поддерживал реформы и их расширение, в особенности Катков с его «Русским вестником» и Достоевский, — все они обнаруживали влияние Герцена, его стиля, его формулировок. Катков был первым «подцензурным» журналистом, который упомянул в печати имя Герцена в контексте уничтожительной атаки, вызвавшей одобрение Александра II. Но при этом здесь цитировались высказывания Герцена и поднимался вопрос о свободе печати. Невозможно продемонстрировать на специальных примерах, что относительно либеральный закон о цензуре 1865 года тоже чем-то обязан Герцену и той атмосфере в печати, которую он помог создать, но было бы странно, будь это не так.

С точки зрения историографии, было бы легкомысленно настаивать на точном сходстве между явлениями, которые я здесь описал, и событиями, имевшими место столетие спустя, — я имею в виду влияние журналов, таких, как «Грани», «Посев», «Вестник РСХД», «Континент», «Синтаксис» и других, а также русских программ Би-Би-Си, Голоса Америки, Немецкой волны и других — поразительное размножение самиздата посредством тамиздата. Было бы опасно усмотреть в этой аналогии слишком много. Герцена среди наших современников нет, но его дух жив. ■

ПОЧТИ ЧТО ЮМОР



Тихо умирают на улицах

«Нет никакого сомнения в том, что многие молча умирают на улицах британских городов».

(Письмо из Англии. — «Известия», 18.10.1984)

Война на экране

(Окончание)



Семен Черток

Семен Черток — критик, журналист, автор книг и статей по советскому искусству, литературе и кино. С 1979 года живет в Израиле.

Война без войны

Все эти картины, кроме «Солдат», были уже не о самой войне, а по поводу войны, в связи с ней. На ее материале авторам было проще показывать героев сомневающих, выражающих недовольство, раскрепощающихся. Именно эти фильмы в период культурной революции в Китае и кочетовского «Октября» стали предметом ожесточенной критики, примерами советского ревизионизма. На Западе их приняли на «ура». «Летят журавли» и «Баллада о солдате» получили премии Каннских фестивалей и, попав в мировой прокат, пользовались успехом. Не потому, что оказались художественно совершеннее шедших в Каннах в то же время фильмов Феллини или Бергмана, но потому, что жизненное измерение, которое неожиданно получил советский экран, позволило западным зрителям увидеть мир по ту сторону железного занавеса.

За все годы войны появился лишь один фильм, сравнимый с этими картинами по человечности: «Машенька» (1942) Ю. Райзмана. Тоже не о войне, а о любви, о десятиклассниках и студентах-первокурсниках. Фильм не показывал их военную судьбу, но зритель ее знал: это поколение тех, чьи отцов столыпинские вагоны увозили в концлагеря на восток, и кто погиб в 1941 году на западном фронте. Судьба Машеньки (В. Караваева), простой девушки, говорившей простыми словами, тро-

нула зрителей куда больше, чем торжественно-траурные кинорассказы о полумифических Зое Космодемьянской и Александре Матросове. По той же причине, по какой солдаты на фронте не учили наизусть стихотворение Симонова «Убей его», а переписывали в тетради его же «Жди меня». Пятнадцать лет между «Машенькой» и фильмами «оттепели» не было на экране бытовых подробностей, повседневности: киноплакатный жанр в них не нуждался. А в фильме с поэтическим названием «Летят журавли» и с патетическим «Баллада о солдате» — трагические проводы на фронт, измены, нравственные компромиссы, коммунальные квартиры, нищенские привокзальные базары, переполненные теплушки. Может, поэтому «Баллада о солдате» с трудом пробилась на экран: ее, как и «Машеньку», обвиняли в камерности — кино должно изображать не человека, а порыв масс, не чувства людей, а волю партии.

На круги своя

На последнем (1984) Всесоюзном совещании работников кино председатель Госкино Ф. Ермаш объявил непримиримую борьбу с «засильем бытовщины» на экране и «отрывом» личной жизни от жизни общественной. Сегодняшний неосталинизм в советском искусстве возвращает кино о войне к стилю и сюжетам предвоенного и военного времени.

В милитаризации советского общества кино отводится важная роль. Оно пропагандирует культ войны, убеждая зрителя в том, что СССР окружен врагами и должен находиться в постоянной боевой готовности, а граждане — ради этого терпеть лишения: лучше жить плохо, чем погибнуть в войне. Экранизируются боевые уставы («Офицеры» В.Рогового, 1972), ставятся сентиментальные ленты, где война используется как сюжетный ход, «приперчивающий» события («Военно-полевой роман» П.Тодоровского, 1984). Война сюжетно входит и в эпосы о единстве армии, партии и народа. Сегодня в кино разрешается говорить не только о решающей роли в войне русского народа, но и о вкладе в победу других народов союзных республик. Правда, с условием, что к слову «родина» будет добавлено прилагательное «советская».

На передовой рубеж вновь выходит монументализм. Сегодня были бы невозможны лирические раздумья М.Хуциева в фильме «Был месяц май» (1970), нежные краски «Зоси» (1966) М.Богина. Сегодня поднимаются на щит сделанная Бондарчуком экранизация шолоховского псевдоэпоса «Они сражались за родину» (1975), экранизация романа А.Чаковского «Блокада» (режиссер М.Ершов, 1974), патетические сцены из партизанской войны, поставленные И.Гостевым по сценарию тогдашнего заместителя председателя КГБ СССР С.Цвигуна (1976).

Главными фильмами о войне считаются многосерийные «Освобождение» (1975) и «Солдаты победы» (1978) Ю.Озерова, повторяющие стилистику «Падения Берлина» с учетом развития техники кино, — широкого формата, цвета, стереофонического звука. Период с 1941 по 1943 год — паники, бегства, миллионов пленных — в

них опущен: война начинается с лета 1943 года, с наступления под Орлом и Белгородом. Главные герои — Сталин и его генералы, солдаты опять чисто условные фигуры. Трактовка войны полностью подчинена официальной военной историографии, даже место в фильме исторических персонажей зависит от того, здравствуют ли они или умерли, а если здравствуют, занимают ли еще посты или в отставке. Герои первых серий — маршалы и генералы, умиравшие в процессе многолетних съемок («Освобождение» начало сниматься в 1967 году, а вышло на экран в 1975), в следующих сериях почти или совсем не появлялись. Чем дальше уходит память о войне, тем беззастенчивее кинолегенды.

Утвержденная Сталиным тематика, осуществление которой превратила его смерть, выполняется сегодня: фильмы о сражениях под Ленинградом, Одессой, Севастополем, действиях различных родов войск. Ю.Озеров поставил к сорокалетию победы фильм «Битва за Москву» (1985), но не упомянул в нем ни о панике 16 октября 1941 года, ни о поспешном отъезде правительственных учреждений и дипломатического корпуса в Куйбышев. Выходят к сорокалетию победы и другие ленты о войне, в которых «монументалисты» одержали верх над «бытовиками» и «камерниками» — «Звездопад» И.Таланкина, «Польня — трава горькая» А.Салтыкова, «Приказ: огня не открывать» и «Приказ: перейти границу» Ю.Иванчука, «Через Гоби и Хинган» В.Ордынского.

Но даже из этих удручающе правильных картин, где вместо образа войны — ее примелькавшиеся приметы, а понятия истории, родины, народа превращены в кинорекивизит, далеко не все попадают на армейские экраны. В гитлеровской Германии фильмы

разрешали к выпуску ведомство Геббельса и СС, в СССР — Госкино и ЦК КПСС. Но для показа в военной аудитории картина должна получить еще и разрешение Главпура: скудость мысли Главпуrom приветствуется, безвкусица прощается за «идейность», основное требование — не вызывать раздумий или других чувств, кроме готовности отдать жизнь за «советскую родину». Правда, даже в микроскопических дозах, не прощается. На армейских экранах не шли ни «У твоего порога», ни «Женя, Женичка и Катюша», а фильмы А.Файта «Пока фронт в обороне» (1964), А.Германа «Операция: "С новым годом"» (1967) и А.Аскольдова «Комиссар» (1968) вообще остались на полке, и их авторы на несколько лет выпали из режиссерской обоймы. Пылятся на полках киностудий и другие картины о войне, признанные недостаточно героическими. Даже фильм высокопоставленного режиссера Г.Чухрая «Дезертир» (1979) не показан зрителям: чтобы и намек не было на то, что такое явление возможно.

К сорокалетию победы вновь появились на экранах фильмы военных лет. Тогда было снято 150 игровых картин, из них сто — о самой войне. Кино тех лет, больше других видов творчества связанное с производством, техникой, государственной машиной и выполняющее ее задания, не создало ни одного зрелого произведения. По своему уровню оно даже близко не подошло к военным стихам Б.Пастернака, А.Ахматовой, А.Твардовского, музыке Д.Шостаковича, прозе В.Гроссмана и Э.Казакевича, лучшим песням и плакатам времен войны. Ни одно другое искусство не откликнулось на войну так убого, не оставив потомкам ни подлинных лиц людей той поры, ни лица самой войны. ■

ПОЧТИ ЧТО ЮМОР

Новости советской медицины

«...зубного врача у нас нет уже давно... Я знаю многих, что на-

учились самостоятельно удалять зубы (что скрывать — я поступаю так же)».

(Письмо из Свердловской обл.

— «Известия»,
20.9.1984)





Михаил Геллер. *Машина и винтики*. Overseas Publications Interchange LTD, London, 1985.

Последняя книга М.Геллера принадлежит к категории литературы, которая старается осмыслить сущность «советского человека». Однако было бы ошибкой думать, что перед нами очередные размышления на тему «загадочной России» и таинственной «славянской души». Представление о непостижимости национального характера основано на убеждении, что этот характер есть результат исторического развития предпосылок, заложенных в самом существе нации (или страны) с момента ее возникновения или создания. Так понимали эту проблему славянофилы и их последователи и толкователи в России и за рубежом. Но «советский человек» (Homo soveticus) — явление совсем другого рода: он возник в результате целенаправленной политики советского государства. Исходным моментом в аргументации Геллера является тот факт, что, захватив власть, Ленин поставил перед партией задачу создать — «построить» — нового человека. Сама мысль, впрочем, была не нова: ее высказывали и русские революционеры (Чернышевский, Нечаев, Ткачев), и западные утописты — Геллер называет анабаптистов в Мюнстере, якобинцев, можно упомянуть еще Кальвина в Женеве. Но только Ленин и его преемники сумели разработать современную машину для осуществления этого замысла. В политике воспитания «нового человека» Геллер справедливо видит единую, неизменную, последовательную линию, неуклонно проводимую партией и правительством независимо от того, кто стоит во главе государства — Ленин или Сталин, Хрущев или

Брежнев, Андропов или Черненко, меняются лишь некоторые практические приемы. Добавлю, что этой же линии придется придерживаться и Горбачеву, если только он не решится на самую радикальную «революцию» в системе.

На основании конкретных социологических данных и множества примеров из советской прессы и беллетристики Геллер анализирует технику и инструменты, используемые для воспитания человека, послушного партии, преданного ей, человека, в котором уничтожается всякая индивидуальность, свобода духа, непредсказуемость поступков, который становится полезным «винтиком» советской машины.

Среди методов, применяемых для этой цели, Геллер называет прежде всего «инфантилизацию», то есть приращивание взрослого человека в состоянии зависимости, безынициативности, страха перед неизвестным. Вспомним панику в момент смерти Сталина или типичные трудности приспособления к другой обстановке выходцев из СССР. С инфантилизацией тесно связана идеологизация, идеологией не только определяются жизненные цели и действия советского человека, но и устанавливаются критерии и параметры его восприятия действительности. Поэтому основным элементом идеологизации является вера в чудо — конечно, не в религиозном смысле, — то есть уверенность, что все возможно и возможно мгновенно, как по мановению волшебной палочки (пятилетки, индустриализация, ликвидация неграмотности). Но всякое чудо содержит в себе элемент непостижимого уму, непонятного, неизвестного, таинственного, и тайна неизбежно становится составной частью всех действий партии и

правительства. Завеса тайны окутывает факты о реальной жизни страны и, уж тем более, заграницы. Это — органическое свойство системы (то же самое, как подмечает Геллер, было и в нацистской Германии). Для соблюдения тайны и «производства» чудес необходима бесконтрольная власть. Именно власть, в конечном итоге, является главным двигателем всей машины. И неважно, какова она — грубая и жестокая или терпимая и мягкая, — ее примат остается непоколебимым. В сознании советского человека укоренено представление, что исчезни эта власть — и тут же разверзнутся бездны произвола и анархии, а что может быть страшнее для тех, кого так пугает неизвестность.

На этих основных стержнях держатся все остальные части описываемого механизма. Труд здесь заменяется времяпрепровождением на рабочем месте, количественная характеристика труда главенствует над качественной — отсюда следует вседушность коррупции, берущей на себя функцию скомпенсировать непроизводительность труда. Само собой разумеется, что основная роль в прививании навыков «гомо советикуса» принадлежит школе и семье, которые воспитывают человека зависимого, послушного, лишённого многих аспектов частной жизни (privacy — непостижимое понятие для советского человека).

Но наиболее утонченный инструмент этого механизма — это новый советский язык. И, конечно, здесь дело не только в изменениях словаря или оборотов речи, приспособленных к новым потребностям. Дело в извращении естественной роли языка в индивидуальном мышлении и восприятии действительности — об этом явлении тоталитарных диктатур проро-

чески писали Замятин в «Мы» и Орвелл в «1984», не говоря уже о Милоше. Советский язык — как в свое время нацистский — имеет своей целью искажение реальности, преобразование фантазии в реальность и облечение реальности в вымышленные формы. Так на месте неосуществленных планов появляются «достижения» и «победы», создаются мифические враги, с которыми надо постоянно бороться: вредители, империализм, сионизм и т.п. Действительность строится словами, и вера в чудо позволяет партии думать, что население принимает ее фантазии за действительность. Не напоминает ли это вранье Хлестакова — только с более серьезными и пагубными последствиями? Само собой разумеется, что это извращение языка и есть основа «царства лжи», против которого восстали Солженицын и диссиденты. Отвергнуть советский и «дубовый» язык — значит сделать первый, самый важный шаг в освобождении человеческой души и творческого духа. Кстати, сам Геллер тоже становится отчасти жертвой этого искажения языка, когда применяет понятие «социализм» к совокупности явлений советской действительности и чаяний зарубежных коммунистов.

Интереснейшая, всесторонняя трактовка Геллером механизма формирования «гомо советикуса» вызывает два критических замечания — критических не столько по отношению к самой концепции, сколько к некоторой ограниченности ее перспективы. Западный читатель, как это ни грустно, будет вынужден признать, что некоторые явления, описываемые в книге, наблюдаются и в свободном мире. Конечно, здесь они не носят такого тотального характера и политической целенаправленности и представляют собой лишь отдельные проявления, а не часть производства некоего разрабатанного механизма. Однако они существуют. Что же до самого страшного механизма — изменения, вернее, извращения нормальной функции человеческой речи, то на Западе им пользовались не только Гитлер и Геббельс: он и сегодня в ходу у авторов рекламных кампаний по радио и телевидению, в кино и печати. И хотя они не ставят перед собой цель коренного преобразования человека, в этих кампаниях кроется опасность такого же рода, и распознать ее очень важно. С этой точки зрения пример производства «гомо советикуса» особенно нагляден. И книга Геллера, написанная ярко и убедительно, дает богатый материал для такого осмысления.

В заключение замечу следующее. Мне кажется, что Геллер преувеличи-

вает неизбежность и самодовлеющий автоматизм описываемого им явления. Ведь он и сам признает, что цель еще далеко не достигнута. И тут возникает вопрос — почему? Ведь советская система располагает самыми изощренными инструментами! Но появление Сахарова, Солженицына, диссидентов — разве это не доказательство неуспеха? Да и некоторые произведения советской литературы (при всем ее приспособленчестве) и другие явления культурной жизни наводят на мысль, что, может, будущее не предопределено, что оно остается открытым. Неизвестно, что кроется в недрах советского общества, как поведут себя отдельные лица и общественные группировки в непредсказуемых ситуациях. Эта вера — лишенная иллюзий — в непредвиденности будущего и отличает либерально-демократическое понимание истории от утопизма и псевдонаучного догматизма советской идеологии. ■

Марк Раев
Нью-Йорк

Essays in Honor of A.A.Zimin (Сборник эссе памяти А.А.Зими́на). Ed. by Daniel C.Waugh. Columbus, Ohio, Slavica Publishers, 1985.

Этот сборник, подготовленный в честь Александра Александровича Зими́на (1920-1980), — дань уважения одному из выдающихся советских медиевистов. Первоначально издание планировалось как часть совместной публикации, в которой должны были принять участие и советские, и западные историки; однако, в конце концов, том этот оказался чисто западной публикацией, так как советская часть «Россия на путях централизации» (Москва, 1982) не содержит прямой ссылки на Зими́на. Пятнадцать статей тома, задуманного как мемориальное издание, раскрывают, какие стороны творчества Зими́на оказали наибольшее влияние на его западных коллег.

Сборник открывается обзорной статьей Даниэля Во, в которой рассказано о работе Зими́на, вводятся главные темы его исследований и оценивается его вклад в русскую медиевистику. За вступлением следует наиболее полная на сегодня библиография опубликованных и оставшихся в рукописи работ Зими́на. Составленная по хронологическому принципу и включающая более 375 названий, она охватывает как рецензии, статьи в энциклопедиях, исследования, циркулировавшие в рукописи, так и книги, отредактированные Зими́ным, и журнальные

статьи. Библиография свидетельствует о широте интересов этого выдающегося ученого.

За исключением статьи Карстен Герке «Пути развития и ключевые пункты изучения истории средневековья России на Западе», в которой, как это следует из названия, рассмотрены современные тенденции в изучении истории средневековой России, основное внимание в статьях сборника уделено специфическим историческим проблемам. Научные интересы Зими́на были сосредоточены на двух проблемах — изучение русского общества и его институтов и неустанный поиск точных, надежных первоисточников для работы с ними и их публикации. Первый аспект представлен здесь, вероятно, в недостаточном объеме. Только Анна Клеймола, исследуя модели комплектования Думы в 1505-1550 гг., основывается на новаторской работе Зими́на о правительственных учреждениях Московского княжества. Восстановление состава так называемой «Боярской Думы» было одним из главных достижений Зими́на. Клеймола, анализируя состав Думы, восстановленный Зими́ным, показывает, как к 1550 году назначения в Думу начинают зависеть больше от политических связей, чем от личных достоинств, и как это способствует ослаблению русской элиты в ее противостоянии политике царя.

Остальные статьи можно разделить приблизительно на две группы. К первой относятся статьи, авторы которых, не затрагивая проблем, поднятых Зими́ным, выявляют интерес советского историка к использованию еще не введенных в научное обращение источников. В эту группу входит исследование Сэмюэля Бэрона о судостроении и мореплавании в России XVI века, исследование Роберта Крамми о том, как цари использовали придворные зрелища для осуществления контроля над элитой в XVII веке, рассказ Густава Алефа о коронации царевича Дмитрия Ивановича в 1498 году, исследование Лудольфа Миллера о «Троице» Андрея Рублева и статья Рекса Рексхейзера о выборах в России XVIII века.

Вторая группа статей демонстрирует тот строгий подход к источникам, который так был характерен для творчества Зими́на. Эта тенденция, нашедшая самое яркое проявление в утверждении Зими́на, будто памятник XII века «Слово о полку Игореве» на самом деле есть фальшивка XVIII столетия, вызвала разногласия между Зими́ным и некоторыми его советскими коллегами и в то же самое время обеспечила ему уважение западных историков. Имя Зими́на стало синонимом тщательного анализа источников, и масштабы этого явления можно проследить на том факте, что по-

что в половине статей тома производится переоценка отдельных исторических текстов. Три из шести статей посвящены проблемам истории XVI века: Эдвард Кинан рассматривает значение повторяющегося пассажа в первом письме Ивана IV к Курбскому, Хельмут Рюсс исследует надежность интерполяции «Царственной книги», а Франк Кемпфер утверждает, что знаменитый копенгагенский «портрет» Ивана IV — всего лишь историческая реконструкция. Трое других авторов сосредотачиваются на более ранних текстах. Джон Феннелл предлагает новую интерпретацию действий князя Рюрика Ростиславича незадолго до смерти последнего в 1215 году, Анджей Поппе исследует зарождение культа святого Николая Зараского, а Владимир Удорф пытается отделить традицию от исторического факта в «Похвальном слове» Борису Александровичу, тверскому князю XV века. Во всех шести статьях, как и в работах самого Зимина, подчеркиваются трудности выявления фактов из средневековых источников и в то же самое время демонстрируются преимущества тщательного их изучения.

Решение напечатать статьи на языках оригинала ограничивает доступность примерно трети материалов сборника для тех, кто читает по-немецки и по-французски, а также для тех, кто читает только по-русски и по-английски. Однако качество статей в целом очень высокое, и сборник представляет интерес не только для медиевистов, но и для всех русских историков, желающих ознакомиться с современными тенденциями в изучении допетровского периода на Западе. ■

Кэролин Джонстон Паунси,
Бостон

Erich Ageland. Ernst Neizvestny. Life and Creative Work (Эрих Агеланд. Эрнст Неизвестный: жизнь и творчество). Ontario, Morain Press, 1985.

Монография норвежского искусствоведа Эриха Агеланда о жизни и творчестве Эрнста Неизвестного вышла почти одновременно на норвежском, шведском и английском языках. Норвежское издательство «Авентура» ведет переговоры о переводе монографии на другие европейские, а также азиатские языки, в частности, — на китайский (предполагается издание на Тайване). Автор книги Эрих Агеланд в течение 12 лет возглавлял отдел искусства и литературы в популярной норвежской газете «Моргенбладет», сейчас он — критик ведущей газеты

страны «Афтенпостен». Его перу принадлежат монографии о крупных норвежских художниках XX века Якобе Вейдемане и Кайфе Фьелле, кроме того, он сам своеобразный иллюстратор, график, портретист.

Как случилось, что норвежский искусствовед заинтересовался творчеством русского скульптора? Эрих Агеланд принадлежит к скандинавским почитателям и последователям русского историка литературы, академика Александра Веселовского (1838-1906), одного из основоположников сравнительного исторического литературоведения. Веселовский считал, что литература и искусство любой страны могут развиваться и совершенствоваться только в условиях свободного контакта между Западом и Востоком. Если же такой контакт почему-либо ограничивается или вообще прерывается, начинается измельчание искусства, оно неизбежно впадает в провинциализм.

Следя за художественной жизнью Советского Союза, Эрих Агеланд почувствовал, что творчество Эрнста Неизвестного — это живой, стихийный и смелый протест против измельчания искусства, обусловленного попытками поставить под партийный контроль взаимосвязи Запада и Востока. Сквозь всю монографию красной нитью проходит мысль о том, что Неизвестный, автор проекта монумента Ассуанской плотины, получившего первую премию на конкурсе, в своем творчестве объединил Россию с Западом и Востоком.

К решению написать монографию о Неизвестном Эрих Агеланд пришел, убедившись, что как скульптор и график, а позднее — и как живописец, Эрнст Неизвестный приобрел большую популярность в скандинавских странах. Агеланд проделал серьезную подготовительную работу — с помощью компетентных консультантов изучил литературу о Неизвестном на русском, европейских и азиатских языках, побывал в Советском Союзе и встретился там с друзьями и недругами Неизвестного, не раз виделся с самим скульптором. Искусствоведу, не жившему в Советском Союзе, невероятно трудно «увязать» воедино знание о предмете исследования извне со знанием изнутри, и мало кому удалось сделать это так естественно и живо, как Эриху Агеланду. Оценивая монографию, многие критики писали, что автор придает реальность и убедительность тому, что могло бы показаться легендарным. Так, рецензентка и искусствовед Дайна Ландегар пишет в еженедельнике «Сан Сторм», что сама жизнь и творчество Эрнста Неизвестного — это какая-то «бурная фантастика», и ставит в заслугу авто-

ру монографии объективность и доказательность его утверждений, далеких от апологетики.

В чем же видится Эриху Агеланду самое существенное, самое ценное в творчестве Эрнста Неизвестного? Об этом мы узнаем из разделов, посвященных крестам, распятиям и «Древу жизни». Среди крестов и распятий автор выделяет умирающего кентавра с его пластически выявленной метафизической символикой. Из «Умирающего кентавра» вырастает крест, увенчанный женской головкой с одухотворенным выразительным лицом.

Символика «Умирающего кентавра» уходит в глубь русской истории. Князь Святослав, одержимый стремлением подчинить Византию, после поражения его войска под Доростолом бежал к себе в Киев, но был убит печенегами, и их князь Куря сделал из черепа Святослава чашу и пил из нее на пирах. А Ольга, мать Святослава, голову которой мы видим на кресте, мечтала о мире с Византией путем христианизации Древней Руси. Как правильно полагает Эрих Агеланд, Эрнст Неизвестный — большой мастер таких метафизических символов.

«Древо жизни» Неизвестного (мебиус в виде непрерывно развертываемой ленты) критик сравнивает с проектом башни III Интернационала Владимира Татлина, созданным в 1919-20 годах. По мнению искусствоведа, Эрнст Неизвестный мог бы создать что-нибудь подобное проекту Татлина, в то время как Татлин вряд ли сумел бы создать произведение, аналогичное «Древу жизни». Действительно, в творчестве некоторых поздних советских авангардистов проявились эпигонские тенденции, а Эрнст Неизвестный свободен от эпигонства и потому равновелик лучшим мастерам раннего авангарда. К тому же, скульптор не сбрасывает с реактивного лайнера современности крупных мастеров древнего и недавнего прошлого, а, напротив, приглашает их быть на таком лайнере почетными гостями и наставниками.

И еще одно достоинство монографии: в ней 148 иллюстраций скульптурных, живописных и графических работ Эрнста Неизвестного, из них 34 — цветные. Эрих Агеланд наделен редкой способностью располагать иллюстрации так, что они кажутся крепко спаянными с текстом повествования, органически становятся его развитием и продолжением.

После появления этой монографии и русские и скандинавские любители искусства могут с полным правом сказать: «Сегодня на нашей улице праздник». ■

Вячеслав Завалишин,
Нью-Йорк



Дело Л. Мартова в революционном трибунале

Ниже публикуются сообщение газеты «Правда» и отчеты газеты «Вперед» о судебном разбирательстве иска Сталина к Мартову по обвинению в клевете. Суть дела заключалась в том, что Мартов в одной из своих статей упомянул об участии Сталина в экспроприациях банков на Кавказе и утверждал, будто Сталин был за это исключен из партии. Описание судебного разбирательства особенно интересно тем, что уже тогда, спустя всего полгода

после большевистского переворота, процедура суда содержала в зародышевом состоянии все элементы судебного произвола, столь характерные для советского судопроизводства.

В воспроизводимых документах полностью сохранены их орфография и пунктуация.

*Публикация подготовлена
Ю. Фельштинским.*

ХРОНИКА Привлечение Мартова за клевету

Тов. Сталиным подано в революционный трибунал следующее заявление: В газете «Вперед» в № 51 (297) была помещена статья Л. Мартова «об артиллерийской подготовке», где между прочим говорится о том, что Сталин, в свое время был исключен из партийной организации за прикосновенность к экспроприациям (см. «Вперед» №51).

Считаю нужным по этому поводу заявить, что я, Сталин, никогда не судился партийной организацией и, тем более, не исключался из последней. Рассматривая брошенное Мартовым обвинение, как бесчестную выходку потерпевшего равновесие человека, наголову разбитого в открытом политическом бою и теперь в отчаянии хватающегося за «последнее» средство, за гнусную клевету, — прошу революционный трибунал привлечь Л. Мартова (Цедербаума) к ответственности за клевету в печати.

Сталин (Джугашвили)
«Правда», №64, 5 апреля 1918.

Большевистский суд над Л. Мартовым в трибунале

Ни разу еще в новом помещении революционного трибунала на Солянке не было такого наплыва публики, какое наблюдалось вчера во время слушания дела т. Мартова.

Задолго до начала слушания дела зал переполнен. Публика продолжает прибывать, и красногвардейцы принуждены загораживать доступ новым лицам. У двери начинается свалка. Публика одерживает верх и продолжает «уплотнять» зал заседаний. Среди публики много рабочих.

Заседание открывается около 1 часа дня. Появляются «судьи» во главе с председателем Печаком.

— Слушается дело Л. Мартова, — объявляет председатель.

Л. Мартов отделяется от группы товарищей и направляется к скамье подсудимых. Раздается гром аплодисментов. Публика устраивает Мартову шумную, долго несмолкавшую овацию.

Председатель грозит публике удалением из зала и указывает

красногвардейцам на необходимость наблюдать за порядком, но из публики раздаются голоса:

— Рты зажимаете!

Постепенно наступает тишина, и председатель обращается к присутствующим с вопросом:

— Кто желает обвинять Л. Мартова?

Вызываются двое: возбудивший настоящее дело, член Совета Народных Комиссаров комиссар по национальным делам Иосиф Джугашвили-Сталин и сотрудник газеты «Правда», Сосновский. Первый обвинитель — Сталин является потерпевшим по делу. Л. Мартов сообщил в одной из статей в газете «Вперед», что Сталин был исключен из партии за причастность к экспроприации.

— Кто будет защитником? — спрашивает председатель.

Из залы раздается голос: «Защитника не пропускают в залу». Председатель недоверчиво спрашивает: Кто этот защитник, где он? тот же голос отвечает: Рабочий Тульского Завода Александров. Красногвардейцы не пропускают его, несмотря на его заявление, что он защитник по делу тов. Мартова. В зале гул протеста.

стов. Председатель растерянно дает распоряжение впустить защитника.

Вторым защитником является тов. Лапинский.

Заявление Мартова

Л.Мартов, получив слово для объяснений, протестует против привлечения его к суду революционного трибунала:

— Я заявляю, — говорит он, — о недопустимости этого дела трибуналу. Революционный трибунал создан для рассмотрения дел о преступлениях против народа, частные же жалобы рассматриваются в народных судах. До сих пор я не слыхал, чтобы Сталин олицетворял собою народ и раз дело касается его личной чести, то оно должно быть передано в народный суд.

Мне могут указать, что Сталин — член нынешнего правительства, но нигде в мире такие дела не слушаются в трибуналах. Даже в королевской Англии в случае оскорбления личной чести короля дело о таком оскорблении слушается в обычном суде. Поэтому я считаю, что меня не должен судить трибунал, состоящий из моих политических противников. Думаю, Сталин может понимать, что честь, требующая для своей охраны особой подсудности, не стоит и двух копеек.

— Трибуналу печати подсудны все дела о клевете в печати, — разъясняет председатель.

Требование Мартова о вызове свидетелей

Л.Мартов переходит к существу дела и просит вызвать ряд свидетелей, могущих подтвердить факты, указанные в его статье.

— Это во-первых, известный грузинский соц.-дем. общественный деятель, Исидор Рамишвили, состоявший председателем революционного суда, установившего причастность Сталина к экспроприации парохода «Николай I» в Баку, Ноя Жордания, «большевик» Шаумяна и других членов За-

кавказского Областн. К-та 1907-08 гг. Во-вторых, — группа свидетелей во главе с Гуковским, нынешним комиссаром финансов. Под его председательством рассматривалось дело о покушении на убийство рабочего Жаринова, избличавшего перед партийной организацией бакинский комитет и его руководителя Сталина в причастности к экспроприации.

Сталин протестует

— Никогда, — говорит он, — я не судился. Если Мартов утверждает это, то он гнусный клеветник. Чтобы его обезвредить, нужно Мартова осудить. Дело необходимо заслушать немедленно, не откладывая его до вызова свидетелей.

Решение Трибунала

Трибунал совещается и выносит решение:

Дело слушать немедленно. Мотивы таковы: с Кавказа свидетелей вызвать трудно за дальностью расстояния, а московских свидетелей Мартов мог сам пригласить в зал заседания.

— Это было невозможно, — протестует Мартов. — Я полагал это согласно обычаям рев. трибунала, меня вызвали сегодня в следственную комиссию, где я мог бы представить список свидетелей. Я попал, оказывается, в трибунал, и отказ в вызове свидетелей могу рассматривать лишь как акт политической мести моих противников. Знайте же: никакому суду не удастся заставить рабочий класс России и международный пролетариат, перед лицом которого проходила вся моя деятельность, поверить, что Мартов клеветник. Бойтесь, чтобы кто-нибудь из вас не попал в историю, как судья, предвзято обвинивший Мартова в клевете.

Раздаются долго несмолкаемые аплодисменты. Председатель волнуется и отдает красногвардейцам распоряжение немедленно очистить зал от публики.

Удаление публики

Появляются вооруженные красногвардейцы и начинают теснить публику.

Раздаются крики:

— Не уходите. Пусть вас расстреляют! Пусть удалят нас силой!

Бывший большевистский комиссар юстиции И.Я.Левинсон подходит к столу Сосновского и, ударив кулаком по столу, возмущенно кричит:

— Я 13 лет состою в партии и подобной гнусности не видел. Я говорю вам это, как большевик!

— Какой вы большевик! — раздраженно отвечает Сосновский.

Красногвардейцы продолжают тискать публику. Кому-то угрожают прикладом. Л.Мартов вскакивает с места и, подбегая к красногвардейцу, заявляет:

— Я не допущу этого.

Затем он поднимается на ступеньку возвышения у судейского стола и обращается к присутствующим со следующим заявлением:

— Товарищи, против штыков вы ничего сделать не можете. Прошу подчиниться силе. Пусть они творят свой суд в тиши застенка.

Публика начинает расходиться.

Неожиданно появляется в зале распорядитель-пристав и заявляет, что председатель согласен вновь допустить в зал публику, но только по билетам.

Процедура выдачи билетов длится около часа.

Окончание в след. номере.

«Вперед», 6 апреля 1918 г.
№56 (302)

Rare Book
and Manuscript Library
(Butler Library).
The Columbia University.

Sommaire

Alexandre Nekritch. Un cercle vicieux.

Dans son éditorial, le rédacteur en chef de "Obozrenie" dresse un parallèle entre l'époque du secrétaire général du PCUS Gorbatchev et celle du secrétaire général Staline et montre que les problèmes de la société soviétique sont restés en fait les mêmes qu'il y a cinquante ans.

Vassili Aksionov. Une avant-garde sans arrières.

L'écrivain célèbre Vassili Aksionov considère que la littérature de la troisième émigration est une expression de l'esprit d'avant-garde, de la vitalité de la littérature russe. C'est dans cette optique qu'il débat du destin et de la mission de l'homme de lettres en exil.

Priscilla Meyer. Nabokov: synthèse de cultures.

Dans l'oeuvre de Nabokov l'auteur de l'article voit une tentative fructueuse de synthétiser la culture russe et de la relier à l'héritage spirituel de la culture mondiale et de la culture de masse de l'Amérique contemporaine.

Valéry Golovskoï. L'enfant du réalisme socialiste: une littérature soumise.

En prenant comme exemple des passages typiques de la littérature de masse du réalisme socialiste, l'auteur de cet article analyse les particularités caractéristiques de ce type d'écrits, indique la filiation existant entre les sujets et les conceptions des auteurs et les directives actuelles du parti et du gouvernement.

Mira Blinkova. Nationale de par sa forme, socialiste de par son contenu.

En se fondant sur sa propre expérience, acquise alors qu'elle était traductrice des oeuvres d'écrivains des républiques autonomes et fédérées, l'auteur parle de la falsification et de la corruption qui règnent dans ce domaine de "la production littéraire".

Vittorio et Clara Strada. Le "Hamlet" de Boris Pasternak.

Le personnage de Hamlet dans le poème de Pasternak est interprété par les auteurs dans un contexte littéraire

et historique très large; ils examinent en même temps la conception de l'artiste dans l'oeuvre du poète.

Dora Shturman. La dernière opération du professeur Benda.

Le livre de l'écrivain autrichien Hans Habe "La mission", sur la conférence internationale de 1938 concernant les problèmes des réfugiés juifs d'Allemagne et d'Autriche, sert de point de départ à l'auteur pour une réflexion sur le sort des réfugiés actuels fuyant les pays totalitaires et la responsabilité des Etats démocratiques dans la solution de ce problème.

Sidney Monas. La censure en tant que mode de vie.

Cet article traite des analogies et des différences existant entre la censure russe du XIX^{es}. et la censure soviétique, analyse deux procès liés à des oeuvres littéraires — celui de Souvorine au XIX^{es}. et celui de Daniel et Siniavski de nos jours. La deuxième partie de l'article est consacrée à l'activité de Herzen en tant qu'éditeur de "la Cloche".

Semion Tchertok. La guerre sur écrans.

Dans cet article sont passés en revue et analysés les films et documentaires soviétiques sur la seconde guerre mondiale. L'auteur démontre que le cinéma soviétique, suivant en cela les directives idéologiques, donne de la guerre une image déformée et falsifiée. Fin de l'article dont le début a paru dans le №14.

Revue des livres.

Cette rubrique regroupe les comptes-rendus des livres suivants: "Machina i vintiki" (La machine et ses rouages) de Michel Heller; "Essays in Honor of A.A.Zimin"; "Ernst Neizvestny. Life and creative work" de Erich Ageland.

Documents.

Dans cette rubrique sont publiés des documents relatifs à l'affaire Martov, accusé d'avoir diffamé Staline et jugé par un tribunal révolutionnaire en 1918. Publication de Iouri Felshtinski.

Summary

Aleksandr Nekrich. The Close Circle.

In his editorial the chief editor of the journal draws a parallel between the times of the Secretary General of the CPSU Gorbachev and the era of the Secretary General Stalin. The author shows that in fact the problems of Soviet society are still the same as fifty years ago.

Vasilii Aksyonov. In the Vanguard — Without a Rearguard.

This well-known writer examines the literature of the third emigration as a manifestation of the steadfastness and avant-garde spirit of Russian literature, and discusses the fate and mission of the writer in exile.

Priscilla Meyer. Nabokov: The Synthesis of Cultures.

The author reviews Nabokov's fruitful attempt, through his work, to synthesize and relate Russian culture to the spiritual heritage of universal culture and the mass culture of contemporary America.

Valery Golovskoy. The Offspring of Socialist Realism: "The Literature of Obedience".

In this article, the characteristics of several books of similar nature are analyzed as a typical example of socialist realistic mass literature. The author traces the connection between the topics of these books and the writers' conceptions with the actual aims of the party and government.

Mira Blinkova. National in Form, Socialist in Content.

The author of this article utilizes her own experience as translator of the works of writers from autonomous and union republics to discuss the falsification and corruption which prevail in this field of "literary production".

Vittorio and Clara Strada. The Hamlet of Boris Pasternak.

The image of Hamlet in Pasternak's verses is of interest to the authors in a broad literary-historical context con-

nected with the interpretation of an artist's image in Pasternak's work.

Dora Shturman. The Final Operation of Professor Benda.

The book of the Austrian writer Hans Habe, **Mission**, concerning the 1938 international conference on the problem of Jewish refugees from Germany and Austria is the spring-board for the author's reflections on the fate of contemporary refugees from the totalitarian world, and the responsibility of democratic governments in the resolution of this question.

Sidney Monas. Censorship as a Way of Life.

This article is a study of the analogies and differences existing between censorship in 19th century Russia and Soviet censorship. The author examines the two judicial systems in their relationship to literary production using as examples the trial of Suvorin in the 19th century and the Daniel and Sinyavsky trial in our time. The second part of the article is dedicated to Herzen's activities as publisher of the journal **Kolokol**.

Semyon Chertok. War on the Screen.

A survey and review of Soviet artistic and documentary films about the Great Patriotic War. The author contends that Soviet cinema, in compliance with ideological goals, has invented a false and distorted image of the war. Continued from *Obozrenie*, N 14.

Short Book Reviews.

The following books are reviewed in this section: Michael Heller, "Mashina i vintiki" (**Machine and Screws**); **Essays in Honor of A.A.Zimin**; Erich Ageland, **Ernst Neizvestny: Life and Creative Work**.

Documents.

This section contains materials concerning the Martov affair and his trial by a revolutionary tribunal on charges of diffamation against Stalin. The documents were prepared for publication by Yuri Fel'shtinsky.

Замеченные смысловые опечатки в №14

На стр. 1 напечатано: «Н.Н.Ежов»,
должно быть — «Н.И.Ежов».

На стр. 27 напечатано: «В самой комму-
нистической партии России», должно быть
— «В самой коммунистической России».

СОДЕРЖАНИЕ

Александр Некрич — Замкнутый круг	1
---	---

ЛИТЕРАТУРА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Василий Аксенов — В авангарде — без тылов	4
Присцилла Мейер — Набоков: синтез культур	10

ЛИТЕРАТУРА В СССР

Валерий Головской — Детище соцреализма — «послушная литература»	15
Мира Блинкова — Национальная по форме, социалистическая по содержанию	19
Витторио и Клара Страда — Гамлет Бориса Пастернака	24

ЛИТЕРАТУРА И ПОЛИТИКА

Дора Штурман — Последняя операция профессора Бенды	28
Сидней Монас — Цензура как образ жизни	36

ИСТОРИЯ

Семен Черток — Война на экране (окончание)	40
--	----

КОРОТКО О КНИГАХ

Марк Раев — Михаил Геллер. Машина и винтики	42
Кэролин Джонстон Паунси — Essays in Honor A.A.Zimin	43
Вячеслав Завалишин — Erich Ageland. Ernst Neizvestny. Life and Creative Work	44

ДОКУМЕНТЫ

Дело Л.Мартова в революционном трибунале. <i>Публикация Ю.Фельштинского</i>	45
--	----

Почти что юмор	39, 41
----------------------	--------

SOMMAIRE	47
----------------	----

SUMMARY	48
---------------	----

«ОБОЗРЕНИЕ»

Аналитический журнал газеты «Русская Мысль» (Париж).
Выходит 6 раз в год.
Редактор Александр НЕКРИЧ.

Supplément au journal « La Pensée Russe » N° 3579

Directeur responsable R. Gallouin
Commission paritaire N° 58334

«OBOZRENIE»

Revue analytique publiée par l'hédomadaire «La Pensée Russe» (Paris).
6 numeros par an.
Redacteur en chef Alexandre NEKRITCH.

«OBOZRENIE»

Analytic journal published by «Russkaja Mysl» (Paris).
6 issues per year.
Chief Editor Aleksandr NEKRICH.

Copyright «Russkaja mysl» (Paris) 1985.

Обложка и рисунки Олега Антропова.
Подготовка рукописей к печати и перевод иноязычных
материалов Елены Гессен.

Номер готовили:

Наборщик Соня Сорокина.
Корректоры Майя Муравник и
Соня Сорокина.
Метранпаж Виктор Сорокин.